

ПРОЕКТ БЕСТСЕЛЛЕР

АРТУРО ПЕРЕС- РЕВЕРТЕ

ФЛАМАНДСКАЯ
ДОСКА



Арту́ро Перес-Реверте
Фламандская доска

«ЭКСМО»

1990

Перес-Реверте А.

Фламандская доска / А. Перес-Реверте — «Эксмо», 1990

ISBN 978-5-699-42719-2

«Фламандская доска» Артуро Перес-Реверте – интеллектуальный детектив, парадоксальный и многоплановый. Роман завораживает головокружительно закрученным сюжетом, перемещением действия из одного временного и культурного пласта в другой. В мире антикваров и коллекционеров старинная картина – ключ к разгадке жестоких преступлений, происходящих в наши дни. Но за каждую проигранную фигуру в шахматной партии будет заплачено человеческой жизнью.

ISBN 978-5-699-42719-2

© Перес-Реверте А., 1990

© Эксмо, 1990

Содержание

1. Секреты мастера ван Гюйса	6
2. Лусинда, Октавио, Скарамучча	26
3. Шахматная задача	39
4. Третий игрок	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Артуро Перес-Реверте

Фламандская доска

Arturo Perez-Reverte

LA TABLA DE FLANDES

Copyright © 1990, Arturo Perez-Reverte

© Н. Кириллова, перевод на русский язык, 2010

© Оформление. ООО «ИД «Домино», 2010

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Хулио и Роси, адвокатам дьявола, и Христиану Санчесу
Асеведо*

1. Секреты мастера ван Гюйса

*Всевишний направляет руку игрока. Но кем же движима
Всевишнего рука?..*

Х. Л. Борхес

Неоткрытый конверт – это загадка, содержащая в себе другие загадки. Этот был большой, объемистый, из плотной бумаги, в левом нижнем углу – печать лаборатории. Протянув руку, Хулия взяла его, ища глазами среди кистей и баночек с лаком и красками нож для разрезания бумаги. В этот момент она и представить себе не могла, до какой степени это движение изменит всю ее жизнь.

В общем-то, она уже знала, что находится в конверте. Точнее, как потом выяснилось, полагала, что знает. И, наверное, поэтому не испытывала никаких особенных чувств, пока, распечатав его, не разложила на столе фотографии и не всмотрелась в них, слегка оторопевшая, затаив дыхание. Именно тогда она поняла, что «Игра в шахматы» окажется чем-то большим, чем просто очередной картиной, попавшей в ее руки. Работа художника-реставратора полна открытий и находок – нечто совершенно неожиданное может вдруг обнаружиться в картине, предмете домашней обстановки или переплете старинной книги. Хулия занималась этой работой уже шесть лет и успела приобрести солидный опыт в области мазков, штрихов, подправок, записей и даже фальсификаций. Однако ей еще никогда не приходилось иметь дело с надписью, скрытой под слоем краски. А между тем на рентгеновском снимке картины обнаружились три слова, невидимые глазу.

Хулия нашарила смятую пачку сигарет без фильтра и закурила. Все это она проделала на ощупь, потому что не могла оторвать взгляда от лежавших перед ней фотографий. Никаких сомнений быть не могло: вот она, надпись, – три слова, ясно читающиеся на позитивах рентгеновских снимков размером 30х40. Фигуры и предметы, изображенные на картине – фламандской доске пятнадцатого века, – четко просматривались, призрачно-зеленоватые, во всех подробностях, так же как прожилки древесины и места соединения трех дубовых плашек, из которых была склеена доска, покрытая многочисленными слоями мазков и штрихов, составлявших картину. А под ними, в нижней ее части, эта загадочная фраза, высвеченная рентгеновскими лучами пять веков спустя после того, как чья-то рука вывела ее безупречными готическими буквами:

QUIS NECAVIT EQUITEM.

Хулия достаточно разбиралась в латыни, чтобы понять ее без словаря. *Quis* — вопросительное местоимение, означающее «кто». *Necavit* — от глагола «*neco*», означающего «убить». А *equitem* — винительный падеж от существительного единственного числа «*eques*», означающего «рыцарь». То есть фраза значит «кто убил рыцаря», причем это явно вопрос – иначе к чему бы здесь слово *quis*, придающее ей некую таинственность.

Итак, «КТО УБИЛ РЫЦАРЯ?».

Как минимум это озадачивало. Хулия глубоко затянулась сигаретой, потом, отняв ее от губ, свободной рукой передвинула несколько фотографий на столе. Кто-то – возможно, сам художник – зашифровал в этой картине некую загадку, укрыв ее от людских глаз под слоем краски и лака. А может, надпись сделана позже кем-то другим. Но это могло произойти не более чем через полвека после написания картины. Подумав об этом, Хулия улыбнулась про себя. Ей не составит особого труда установить дату с достаточной степенью вероятности. В конце концов, в этом и состоит ее работа.

Она взяла со стола фотографии и встала. Сероватый свет, проникавший в большое потолочное окно ее мансарды, падал прямо на стоявшую на мольберте картину. «Игра в шахматы»,

масло, дерево, написана в тысяча четыреста семьдесят первом году Питером ван Гюйсом... Встав перед картиной, Хулия долго всматривалась в нее. То была бытовая сценка, выписанная до мельчайших подробностей со скрупулезным, прямо-таки дотошным реализмом, свойственным художникам пятнадцатого века: один из тех интерьеров, при изображении которых, пользуясь новой для тех времен техникой – маслом, великие фламандские мастера заложили основы современной живописи. Главными персонажами картины были двое мужчин среднего возраста и благородной наружности, сидевшие друг против друга за шахматным столом, на котором разыгрывалась партия. На втором плане справа, возле стрельчатого окна, обрамлявшего дальний пейзаж, дама, одетая в черное, читала книгу, лежавшую на коленях. Привлекали внимание тщательно прорисованные детали, столь характерные для фламандской школы и зафиксированные с почти маниакальной точностью: мебель, украшения, белые и черные плиты пола, рисунок ковра, даже едва заметная трещина на стене и тень от крошечного гвоздика на одной из потолочных балок. С той же точностью были изображены шахматная доска и фигуры, черты лица, руки и одежда персонажей. Тонкость работы поражала еще более благодаря живым и ярким краскам, притушить которые не мог даже потемневший от времени слой защитного лака.

Кто убил рыцаря. Хулия взглянула на позитив рентгеновского снимка, который держала в руке, потом на картину. Ни малейших следов спрятанной надписи. Она осмотрела картину более досконально, с помощью бинокулярной лупы с семикратным увеличением, но также ничего не обнаружила. Тогда, задернув плотную штору, перекрывшую поток света из окна, она придвинула к мольберту треножник с лампой Вуда, чьи ультрафиолетовые лучи, падая на поверхность картины, вызывают флуоресценцию самых старых материалов, красок и лаков, тогда как более поздние делаются темными или черными, почти невидимыми: таким образом становится возможным выявить подправки, произведенные после окончания картины. Однако под лампой Вуда вся поверхность доски – включая и ту часть, где находилась надпись, – светилась одинаково ровно. Это означало, что надпись закрасил сам художник либо это было сделано немедленно по завершении работы над картиной.

Хулия выключила лампу, отдернула штору, и сероватый, как отблеск стали, свет осеннего утра снова пролился на мольберт с фламандской доской, наполнив кабинет, тесный от книг, полки с кистями, банками красок, лаков и растворителей, столярными инструментами, старинным резным деревом и бронзой, подрамниками всех размеров; на полу, на испачканном красками дорогом ковре, повернутые лицом к стене, стояли картины, а в углу, на комодной эпохи Людовика XV, – стереоустановка, окруженная стопками пластинок: Дом Черри, Моцарт, Майлс Дейвис, Сэйти, Лестер Боуи, Вивальди... Из висевшего на одной из стен венецианского зеркала в позолоченной раме на Хулию глянуло ее собственное отражение: волосы до плеч, чуть заметные круги под большими, темными, еще не накрашенными глазами. Хороша, как модель Леонардо, говорил Сесар всякий раз, когда, как сейчас, зеркало обрамляло золотом ее лицо, *ta pui bella*¹. И хотя Сесара, пожалуй, следовало считать скорее ценителем эфебов, чем мадонн, Хулия знала, что это утверждение целиком и полностью соответствует действительности. Она и сама любила глядеться в зеркало в золоченой раме: ей начинало казаться, что она находится по ту сторону некой волшебной двери, распахнутой сквозь пространство и время, и оттуда, в образе, воплотившем красоту итальянского Возрождения, смотрит на самое себя, находящуюся по эту сторону. При воспоминании о Сесаре ее губы тронула улыбка. Хулия всегда улыбалась, думая о нем, – всегда, с самого раннего детства. Улыбалась с нежностью, а зачастую – как единомышленник, даже сообщник. Снова положив фотографии на стол, Хулия загасила сигарету в тяжелой бронзовой пепельнице работы Бенкьюэра и уселась за пишущую машинку.

¹ Но красивее (*um*). – Здесь и далее примечания переводчика, если это не оговорено особо.

«Игра в шахматы»:

масло, дерево. Фламандская школа. Датировано 1471 годом.

Автор: Питер ван Гюйс (1415–1481).

Основа: три дубовые плашки, соединенные встык на полушипах.

Размеры: 60х87 см. (Все три плашки одинаковых размеров: 20х87.)

Толщина доски: 4 см.

Состояние основы:

укрепление не требуется. Повреждений от насекомых не наблюдается.

Состояние красочного слоя:

сцепление и прилегание слоев хорошие. Изменений цвета нет.

Наблюдаются возрастные трещины, однако отслоений нет.

Состояние поверхностной пленки:

следов выпотевания солей, пятен сырости нет. Наблюдается чрезмерное потемнение лака вследствие окисления; слой необходимо заменить.

Из кухни донесся свист кофеварки. Хулия поднялась и пошла налить себе кофе – большую чашку, без сахара и без молока. Через минуту она вернулась, неся чашку в одной руке, а другую, мокрую, вытирала о свободный мужской свитер, надетый поверх пижамы. Легкое нажатие указательного пальца – и в студии, освещенной серым утренним светом, зазвучали первые ноты концерта для лютни и виолы д'аморе Вивальди. Хулия, отхлебнув глоток крепкого горького кофе, который обжег ей кончик языка, снова села за машинку и, упершись босыми ступнями в ковер, продолжила печатать.

Результаты обследования с помощью ультрафиолетовых и рентгеновских лучей:

значительных более поздних изменений и подправок не выявлено.

При просвечивании рентгеновскими лучами обнаружена закрашенная надпись той же эпохи, готическим шрифтом (фотокопии рентгеновских снимков прилагаются). При обычных способах обследования надпись не обнаруживается. Она может быть открыта без ущерба для картины путем снятия верхнего красочного слоя в том месте, где она находится.

Вынув лист из каретки пишущей машинки, Хулия вложила его в конверт вместе с двумя фотокопиями, затем допила еще горячий кофе и собралась выкурить еще одну сигарету. Прямо напротив нее, на мольберте, перед дамой у окна, поглощенной чтением, двое игроков продолжали шахматную партию, длившуюся уже пять веков. Питер ван Гюйс выписал ее столь мастерски и детально, что фигуры – так же, как и остальные изображенные предметы, – казались объемными и словно бы выступали из плоскости картины. Ощущение реальности было настолько сильным, что вполне обеспечивало эффект, к которому стремились старые фламандские мастера: вовлечь зрителя в мир картины, убедить его, что пространство, откуда он ее созерцает, является продолжением пространства внутри ее – как будто картина есть часть действительности, а действительность есть часть картины. Этому еще более способствовало окно в правой части композиции – из него открывался вид на какие-то дальние дали, представлявшие глубокий задний план изображенной сцены, – и круглое выпуклое зеркало на стене слева, отражавшее фигуры играющих и шахматный столик в том ракурсе, в каком их видел бы зритель, созерцающий картину, то есть находящийся перед ней. Таким образом создавалось удивительное впечатление: окно, комната и зеркало оказывались в некоем едином пространстве. Как будто сам зритель, подумалось Хулии, находится там, в этой комнате, между играющими.

Поднявшись, она подошла к мольберту и, скрестив руки на груди, снова принялась рассматривать картину. Долго простояла она так, почти неподвижно, лишь время от времени поднося к губам сигарету, чтобы сделать новую затяжку, и щуя глаза от дыма. Игроку, сидевшему слева, можно было дать лет тридцать пять. У него были каштановые волосы, подстриженные, по средневековой моде, на уровне ушей, и тонкий с горбинкой нос. Весь его облик выражал глубокую сосредоточенность. Узкое, довольно длинное одеяние было написано яркой кинуварью, удивительно сохранившей сочность и живость цветов, притушить которые не удалось ни прошедшим векам, ни потемневшей от окисления пленке лака. На груди мужчины висела цепь ордена Золотого Руна, на правом плече блестела изящная, филигранной работы застежка, выписанная с такой тщательностью, что глаз улавливал даже искорки и переливы украшавших ее драгоценных камней. Левым локтем мужчина опирался на стол; рядом с шахматной доской покоилась и кисть его правой руки, державшей в приподнятых пальцах, видимо, только что отыгранную фигуру – белого коня. Возле головы игрока виднелась надпись готическими буквами – по всей вероятности, его имя: *FERDINANDUS OST. D.*

Другой мужчина – на вид лет сорока – был худощав и черноволос. На виске, у высокого ясного лба, можно было разглядеть тончайшие, как нити, мазки – точнее, штрихи, нанесенные свинцовыми белилами. Эта седина и сдержанное, даже несколько суровое выражение лица придавали ему вид человека, не по летам умудренного и закаленного тяготами жизни. Спокойный, благородный профиль, в отличие от богатых придворных одежд первого игрока – простой кожаный панцирь, а поверх него – латный воротник из блестящей полированной стали, указывающий на то, что их хозяин – воин. Опершись скрещенными руками на край стола, склонившись над доской ниже, чем его соперник, рыцарь внимательно вглядывался в расположение фигур, казалось, он был поглощен игрой до такой степени, что не замечал ничего вокруг. Легкие вертикальные морщинки на его лбу говорили о глубокой сосредоточенности, словно трудная задача, которую ему предстояло решить, требовала максимального напряжения мысли. Над его головой стояло: *RUTGIER AR. PREUX.*

Дама сидела в отдалении, у окна. Ее фигура вытянутых пропорций располагалась в глубине «картинного» изобразительного пространства. Черный бархат платья, благодаря искусному использованию богатой гаммы серых и серебристых полутонов, казался настолько реальным, а его складки – настолько объемными, что их хотелось потрогать. С не меньшей реалистичностью художник выписал и сложный орнамент ковра, трещинки и глазки потолочных балок и плитки, покрывавшие пол. Наклонившись поближе к картине, чтобы в полной мере оценить тщательность и тонкость письма, Хулия всматривалась в нее, испытывая то особое восхищение, которое чувствует настоящий мастер перед произведением другого мастера. Лишь художник уровня ван Гюйса способен был *так* написать черное платье: лишь немногие осмелились бы так обыграть этот цвет, основа которого – отсутствие какого бы то ни было цвета. Он выглядел настолько осязаемым, что, казалось, ухо улавливало легчайший шорох бархата о маленькую скамейку для ног с подушечками из тисненой кожи.

Взгляд Хулии остановился на лице женщины. Оно было красиво и очень бледно, как того требовали вкусы той эпохи; пышные белокурые волосы, гладко зачесанные на висках, спрятаны под легким, почти прозрачным, белым покрывалом. Из широких рукавов платья выглядывали руки, обтянутые светло-серым узорчатым шелком. Длинные тонкие пальцы держали книгу – Часослов. Падающий из окошка свет играл на металлической застежке книги и на единственном украшении этих изящных рук – золотом кольце. Глаза женщины – можно было догадаться, что они голубые, – были опущены, придавая ее лицу выражение скромной и безмятежной добродетели, столь характерное для всех женских портретов того времени. Поток света, льющийся из окна, и другой, отраженный в зеркале, мягко обрисовывали женскую фигуру, словно включая ее в то же самое пространство, в котором находились оба игрока, но одновременно она казалась как будто отстраненной, отдаленной от них: это впечатление создавалось несколько

иным, чем у них, ракурсом и более акцентированной игрой теней. Надпись возле головы женщины гласила: *BEATRIX BURG. OST. D.*

Отступив на два шага, Хулия еще раз окинула взглядом всю картину. Да, без сомнения, то был подлинный шедевр. Это подтверждали приложенные к ней документы, заверенные и подписанные экспертами. Что означало: на предстоящем в январе аукционе «Клэймор» она будет оценена достаточно высоко. А из-за таинственной надписи цена наверняка поднимется еще выше – особенно если снабдить фламандскую доску соответствующей исторической документацией. Десять процентов причитается «Клэймору», пять – Менчу Роч, остальное пойдет владельцу. За вычетом одного процента за страхование и гонорара за реставрацию и очистку картины.

Хулия разделась и нырнула в душевую кабину, не закрыв двери, чтобы шум воды не заглушал музыку Вивальди. Реставрация фламандской доски для выставления на продажу сулила ей неплохой заработок. Всего несколько лет назад закончив учебу, Хулия уже обладала солидной профессиональной репутацией и считалась одним из лучших художников-реставраторов; музеи и торговцы антиквариатом охотно и часто прибегали к ее услугам. Сама на досуге успешно занимавшаяся живописью, методичная, дисциплинированная, она пользовалась известностью как специалист, с глубоким уважением относящийся к оригиналу: такова была ее этическая позиция, которую разделяли далеко не все ее коллеги. Между всяким реставратором и произведением искусства, с которым он имеет дело в данный момент, возникает некая духовная связь – зачастую непростые отношения, разыгрывается ожесточенная, хотя и бескровная, битва между стремлением сохранить все как есть и желанием «обновить» свое детище. Хулия обладала редким даром никогда не забывать главного принципа: ни одно произведение искусства не может быть возвращено к своему первоначальному состоянию иначе, как ценою нанесения ему более или менее серьезного ущерба. По мнению Хулии, следы старения, патина, даже некоторые изменения цвета красок и лаков, повреждения, подправки со временем становились частью данного произведения, не менее важной, чем оно само. Возможно, благодаря этому картины, которые она реставрировала, выходя из ее рук, поражали не броской яркостью красок, якобы присущей им изначально (Сесар называл «обновленные» таким образом картины «размалеванными куртизанками»), а деликатностью, с какой за следами пронесшихся годов или веков признавалось право на существование в качестве неотъемлемой части единого целого.

Хулия вышла из душа, завернувшись в халат с капюшоном, капли воды с мокрых волос стекали ей на плечи, закурила пятую за это утро сигарету и там же, перед картиной, начала одеваться: туфли на низком каблучке, коричневая юбка в складку, кожаная куртка. Потом, удовлетворенно оглядев свое отражение в венецианском зеркале, снова обернулась к двум суровым шахматистам на картине и задорно подмигнула им – безо всякой, впрочем, реакции с их стороны: лица обоих как были, так и остались серьезными и сосредоточенными. Кто убил рыцаря. Эта фраза, загадочная и непонятная, продолжала вертеться в голове Хулии, пока она укладывала в сумку конверт со своей аннотацией к картине и фотографиями и когда, включив систему охранной сигнализации, дважды поворачивала ключ в замке. *Quis necavit equitem.* Что бы это ни означало, в ней должен быть какой-то смысл. Хулия шепотом повторяла эти три слова, спускаясь по лестнице и скользя пальцами по обшитым латунью перилам. Ее всерьез заинтриговали и фламандская доска, и надпись, однако дело было не только в этом. Что-то тревожило ее, вызывало смутный, необъяснимый страх. Как тогда, когда, еще маленькой девочкой, поднявшись на самый верх лестницы своего дома, она собирала всю храбрость, чтобы заглянуть в дверь темного чердака.

– Ну разве он не прелесть? Настоящее кватроченто!²

² Кватроченто – период наивысшего расцвета искусства итальянского Возрождения, сороковые годы пятнадцатого века.

Говоря это, Менчу Роч имела в виду вовсе не картину, выставленную в носящей ее имя художественной галерее. Ее светлые, чересчур сильно подведенные глаза были устремлены на широкие плечи Макса, разговаривавшего у стойки кафетерия с каким-то знакомым. Макс – метр восемьдесят пять роста, мускулистая спина спортсмена-пловца под отлично скроенным пиджаком – носил длинные волосы, заплетенные на затылке в косичку, перехваченную темной шелковой ленточкой; движения его были медленны и плавны. Менчу окинула его оценивающим взглядом и, прежде чем коснуться губами края запотевшего бокала с мартини, улыбнулась по-хозяйски удовлетворенно. Макс был ее последним любовником.

– Настоящий Кватроченто, – повторила она, смакуя одновременно и слова, и напиток. – Он похож на эти чудесные итальянские бронзовые скульптуры, ведь правда?

Хулия не слишком охотно кивнула. Они дружили давно, но ее до сих пор не переставала удивлять эта способность Менчу извращать все, что имело хотя бы отдаленное отношение к искусству.

– Любая из этих скульптур – я имею в виду оригиналы – обошлась бы тебе намного дешевле.

Менчу цинично улыбнулась.

– Ты хочешь сказать – дешевле, чем Макс? Это уж точно, можешь не сомневаться. – Она драматически вздохнула, прикусывая маслину из мартини. – По крайней мере, Микеланджело изображал их в чем мать родила. Ему не приходилось одевать их при помощи кредитных карточек.

– Тебя никто не заставляет оплачивать его счета.

– В этом-то и весь кайф, золотко. – Менчу томно, театрально взмахнула ресницами. – В том, что никто меня не заставляет. Вот так-то.

И она допила свой бокал, старательно оттопыривая мизинец. Впрочем, она делала это нарочно, напоказ, словно дразнясь. Менчу было уже за сорок (даже более того: ближе к пятидесяти, чем к сорока), однако возраст не охладил ее живейшего интереса ко всему, что касалось секса. Она ощущала его присутствие во всем – даже в самых незначительных деталях произведений искусства. Может быть, поэтому ей удавалось относиться к мужчинам с той же хищной расчетливостью, с какой она оценивала перспективность предлагаемых ей картин. Среди своих друзей и знакомых хозяйка галереи Роч пользовалась репутацией женщины, которая никогда не упускала случая прибрать к рукам заинтересовавшие ее картину, мужчину или дозу кокаина. Она все еще могла считаться достаточно привлекательной, хотя, разумеется, трудно было не заметить того, что, в силу ее возраста, Сесар язвительно именовал «эстетическими анахронизмами». Менчу решительно не желала стареть хотя бы потому, что ей абсолютно не улыбалась подобная перспектива. И в качестве защитной меры, а возможно, и некоего вызова самой себе она намеренно старалась казаться вульгарной – во всем, от макияжа и одежды до выбора любовников. В подтверждение своей идеи о том, что торговцы произведениями искусства и антиквариатом – всего лишь старьевщики более или менее высокой квалификации, она изображала эдакую простецкую, грубоватую дамочку, даже не претендующую на «интеллигентность» (что никак не соответствовало действительности), приводя в недоумение людей, которые сталкивались с ней впервые, и открыто насмехаясь над тем кругом более или менее избранных, где проходила ее профессиональная жизнь. Она разыгрывала эту роль с той же естественностью, с какой утверждала, что самый сильный оргазм в своей жизни испытала, мастурбируя перед репродукцией «Давида» Донателло, напечатанной в таком-то каталоге под таким-то номером. Сесар со свойственной ему утонченной, почти женской, жесткостью отзывался об этом эпизоде как о единственном в жизни Менчу Роч проявлении действительно хорошего вкуса.

– Так что мы будем делать с ван Гюйсом? – спросила Хулия.

Менчу снова взглянула на фотокопии рентгеновских снимков, лежавшие на столике между ее бокалом и чашечкой кофе подружки. Веки Менчу были густо намазаны голубыми тенями того же оттенка, что и чересчур короткое голубое платье. Хулия безо всякого ехидства подумала, что Менчу, наверное, была действительно красива лет двадцать назад. И ей шел именно голубой.

– Пока не знаю, – отозвалась Менчу. – «Клэймор» берется выставить его на аукцион так, как есть... Надо бы выяснить, как повлияет эта надпись на цену.

– Ты как считаешь?

– Я просто в восторге. В любом случае ты, сама того не зная, попала в точку.

– Переговори-ка ты с владельцем.

Менчу сунула снимки обратно в конверт и закинула ногу на ногу. Двое молодых людей, пивших аперитив за соседним столиком, тут же начали украдкой засматриваться на ее бронзовые от загара ляжки. Хулия раздраженно повела плечом. Обычно ее забавляло то, с какой откровенностью Менчу испытывала на мужской части публики свои спецэффекты, но порой ей начинало казаться, что та слишком уж перебарщивает. Неподходящее время – Хулия взглянула на циферблат квадратной «Омеги», которую носила на левом запястье с внутренней стороны, – чтобы выставлять напоказ нижнее белье.

– Да с владельцем-то проблем никаких не будет, – усмехнулась Менчу. – Это чудный, милый старикашка в инвалидной коляске. И если из-за надписи на его доске ему перепадет больше того, на что он рассчитывал, то он будет просто счастлив... Он живет с племянницей и ее мужем. Вот уж настоящие пиявки!

Макс у стойки продолжал беседовать с приятелем, однако, время от времени вспоминая о своих обязанностях, оборачивался к Менчу и Хулии, чтобы послать им ослепительную улыбку. Кстати о пиявках, подумала Хулия, но тем не менее не стала говорить этого вслух. Это вряд ли задело бы Менчу, относившуюся ко всему, что связано с мужчинами, с прямо-таки восхитительным цинизмом, но Хулия обладала верной интуицией в отношении того, что стоит говорить, а чего не стоит, и эта интуиция не позволяла ей заходить слишком далеко.

– До аукциона два месяца, – проговорила она, игнорируя улыбки Макса. – Очень небольшой срок, если считать, что мне придется снять лак, раскрыть надпись и наложить новый слой лака... – Она задумалась. – А еще собрать документацию по картине и персонажам да написать отчет... Времени уйдет много. Нужно бы поскорее получить разрешение от владельца.

Менчу кивнула. Ее легкомыслие не распространялось на профессиональную сферу: уж тут-то она становилась умной и предусмотрительной, как ученая крыса. В данной сделке она выступала в роли посредника, поскольку хозяин ван Гюйса не был знаком с механизмами рынка. Это она вела переговоры об аукционе с мадридским филиалом фирмы «Клэймор».

– Я позвоню ему сегодня же, – сказала Менчу. – Его зовут дон Мануэль, ему семьдесят лет, и ему безумно нравится общаться, как он говорит, с такой красивой женщиной, которая прекрасно разбирается в деловых вопросах.

– Тут есть еще один момент, – снова заговорила Хулия. – Если надпись имеет какое-то отношение к истории персонажей картины, «Клэймор» сыграет на этом – увеличит стартовую цену. Ты можешь раздобыть еще какие-нибудь полезные для дела документы?

– Вряд ли что-нибудь существенное. – Менчу покусала губы, припоминая. – Да, вряд ли. Я ведь тебе все передала вместе с картиной. Так что теперь твоя очередь попотеть, детка моя.

Хулия открыла сумочку и долго копалась в ней – значительно дольше, чем требуется для того, чтобы найти пачку сигарет. Наконец, медленно вытянув сигарету, она подняла глаза на Менчу:

– Мы могли бы проконсультироваться с Альваро.

Менчу вскинула брови.

– Ну, знаешь ли, – пробормотала она, – от таких шуточек можно запросто превратиться в каменный столб, как жена Ноя, или Лота, или как там звали этого идиота, который маялся дурью в Содоме. Или в соляной, а не в каменный? Черт их там разберет... В общем, потом расскажешь. – Она даже охрипла от предвкушения захватывающих и пикантных подробностей. – Потому что ведь вы с Альваро...

Она оборвала фразу на полуслове, придав своему лицу озабоченное, преувеличенно печальное выражение. Это случалось всякий раз, когда речь заходила о чужих проблемах: Менчу доставляло удовольствие считать всех своих ближних без исключения слабыми и беззащитными в сердечных делах. Хулия невозмутимо выдержала ее взгляд, ограничившись замечанием:

– Он лучший специалист по истории искусства из всех, которых мы знаем. И интересует он меня исключительно в этом качестве.

Менчу изобразила на лице серьезное раздумье, затем сделала головой движение сверху вниз. Разумеется, это дело Хулии. Дело сугубо личное, из тех, которые полагается поверять исключительно своему «милому дневнику». Однако на месте Хулии она постаралась бы выдержаться от этой встречи. *In dubio pro reo*, как утверждает этот старый пижон Сесар, вечно щеголяющий своей латынью. Или не *in dubio*, а *in pluvio*?

– От Альваро я уже излечилась, даю тебе честное слово, – ответила Хулия.

– Есть такие болезни, детка моя, от которых не излечиваешься никогда, – категорически возразила Менчу. – А один год – это, считай, ничего. Помнишь, как в том танго у Гарделя?

Хулия не смогла удержаться от иронической усмешки, адресованной самой себе. Год назад закончился ее более чем двухлетний роман с Альваро, и Менчу была в курсе событий. Более того: именно она, сама того не желая, произнесла когда-то окончательный приговор. В общем-то, она просто попыталась разъяснить Хулии обычную тенденцию развития подобных связей. «В конце концов, детка моя, женатый мужик почти всегда остается со своей благоверной», – сказала она. Может, не совсем такими словами, но сути дела это не меняло. «Исход битвы, видишь ли, решают все-таки годы, заполненные стиркой носков и рождением детей. Просто они все таковы, – закончила Менчу между двумя вдохами кокаина. – В глубине души у каждого из них сидит прямо-таки омерзительная верность своей законной юбке. Апчхи! Сукины дети».

Хулия выдохнула густую струю дыма и, снова взявшись за свою чашечку кофе, принялась медленно допивать ее. Тогда все получилось очень горько и больно: эти последние слова, этот стук закрывающейся двери – и потом минуты, часы, дни, ночи... Такую же горечь и боль причиняли воспоминания. И те три-четыре случайные встречи в музеях или на конференциях, которые имели место за прошедший после расставания год. Оба вели себя безупречно: «Ты прекрасно выглядишь, надеюсь, все в порядке...» Ну и прочая чушь в этом роде. В конце концов, оба они – люди цивилизованные, объединенные не только не слишком долгим периодом общего прошлого, но и общим делом – искусством, составляющим предмет их профессиональной деятельности, пусть даже они и занимаются им с разных сторон. Люди с определенным жизненным опытом. Одним словом, взрослые.

От Хулии не ускользнуло, что Менчу наблюдает за ней с жадным интересом, чуть ли не облизываясь в предвкушении новых любовных коллизий, сулящих ей роль советницы по тактическим вопросам. Менчу всегда сетовала на то, что после разрыва с Альваро у ее подруги бывали лишь эпизодические, кратковременные сентиментальные истории, едва ли достойные даже воспоминаний. «Ты стала настоящей пуританкой, детка моя, – не уставала повторять она, – а это ведь так скучно! Тебе нужно что-нибудь новое, захватывающее, эдакий водоворот страсти...» С этой точки зрения, даже одно-единственное упоминание имени Альваро обещало интересные перспективы.

Хулия прекрасно понимала все это, однако раздражения не испытывала. Менчу – это Менчу, и такой она была всегда. Ведь не мы выбираем себе друзей: это они нас выбирают. Или порви с ними, или уж принимай такими, как есть. Это она тоже усвоила от Сесара.

Сигарета дотлевала, и Хулия затушила ее о дно пепельницы. Потом, заставив себя улыбнуться, взглянула на Менчу:

– Альваро меня мало волнует. Кто волнует – так это ван Гюйс. – Она мгновение помолчала, подбирая слова, чтобы поточнее выразить свою мысль. – В этой картине есть что-то необычное.

Менчу слегка пожала плечами. Казалось, ее занимали совсем другие мысли.

– Не бери в голову, детка моя. Картина – это просто холст или дерево, краски и лак... Важно лишь то, сколько ты получаешь, когда она переходит из рук в руки. – Она бросила взгляд на широкие плечи Макса и зажмурилась от удовольствия. – Остальное все – чепуха.

Во время своего романа с Альваро – всех дней вместе и каждого в отдельности – Хулия считала, что Альваро классическое воплощение представителя своей профессии. Это относилось буквально ко всему, начиная от внешности и кончая манерой одеваться: интересный, приятный в общении, не юноша, но и не старик – около сорока, носит джинсовые куртки английского производства и трикотажные галстуки. К тому же он курил трубку, и все это вместе производило такое впечатление, что, впервые увидев его входящим в аудиторию – в тот раз он читал лекцию на тему «Искусство и человек», – Хулия лишь через добрых четверть часа начала улавливать смысл того, что он говорил: ей все никак не верилось, что этот человек с внешностью молодого профессора и на самом деле профессор. Позже, когда Альваро простился со студентами до следующей недели и все вышли в коридор, она подошла к нему – просто и естественно, прекрасно осознавая, что должно было произойти. А произойти должно было очередное повторение извечной и давно уже не оригинальной истории: классическая комбинация «учитель и ученица». Хулия поняла и приняла это еще до того, как Альваро, уже выходящий из аудитории, обернулся – нет, всем корпусом повернулся – к ней, чтобы впервые ответить на ее улыбку. Во всем этом было – или, по крайней мере, так показалось девушке, когда она взвешивала все «за» и «против», – нечто неизбежное, нечто восхитительно-роковое, несущее в себе дыхание *фатума*, предначертание Судьбы: взгляд на вещи, полюбоившийся ей с тех самых пор, когда она, еще учась в колледже, занималась переводом истории семейных передраг этого гениального грека – Софокла. Лишь значительно позже она решилась рассказать обо всем Сесару, и антиквар, который с незапамятных времен – еще с тех пор, когда Хулия ходила с косами и в белых носочках, – был ее наперсником и советчиком в сердечных делах, ограничился тем, что пожал плечами и рассчитанно-непринужденным тоном высказал замечание относительно банальности этой сладенькой историйки, ибо, дорогая моя, на эту тему уже написано как минимум три сотни романов и снято как минимум столько же фильмов, особенно – презрительная гримаса – французских и американских. «А это, ты согласишься со мной, принцесса, придает данной теме поистине кошмарный характер...» Но... и только-то. Со стороны Сесара не последовало ни серьезных упреков, ни отеческих увещаний, каковые – это было отлично известно обоим – всегда являются не более чем пустой тратой времени. Своих детей у Сесара не было и не предвиделось, но он обладал неким особым даром, проявляющимся в подобных ситуациях. В какой-то момент антиквар обрел абсолютную уверенность в том, что на свете нет людей, способных учиться на чужих ошибках, и, следовательно, единственно достойная и возможная линия поведения для наставника – а именно такова, по сути дела, была его роль – это сесть рядом с предметом твоих забот, взять за руку и бесконечно доброжелательно выслушивать отчет об эволюционном развитии его любовных радостей и горестей, в то время как мудрая природа продолжает неуклонно и неизбежно идти своим путем.

– В сердечных делах, принцесса, – всегда говорил Сесар, – никогда нельзя предлагать советов или решений... Только чистый носовой платок – в надлежащий момент.

Именно это он и сделал, когда все кончилось, в тот вечер, когда Хулия появилась – с еще влажными волосами, двигаясь как лунатик, – и уснула у него на коленях. Но все это случилось позже, намного позже той первой встречи в институтском коридоре, которая протекала без особых отклонений от заранее известного сценария. История развивалась по традиционному, проторенному и вполне предсказуемому, однако неожиданно приятному пути. У Хулии прежде было несколько романов, но ни разу до того вечера, когда она и Альваро впервые оказались вместе на узкой гостиничной койке, она не испытывала потребности произнести «я люблю тебя» – с болью, с надрывом, в счастливом изумлении слыша, как с губ ее слетают слова, которых она никогда не говорила раньше, а сейчас вот сказала – каким-то незнакомым, словно бы чужим голосом, очень похожим на стон или рыдание. А утром, проснувшись и поняв, что ее голова покоится на груди Альваро, она осторожно, чтобы не разбудить, отвела с его лба взлохмаченные волосы и долго, ощущая щекой спокойное биение сердца, смотрела на него, пока, открыв глаза, он не улыбнулся в ответ на ее взгляд. В этот момент Хулия окончательно поняла, что любит его, и поняла также, что у нее появятся и другие любовники, но никогда ни к кому из них она не будет испытывать тех чувств, какие испытывает к Альваро. А через двадцать восемь месяцев, бесконечно долгих и кратких, наступило время очнуться от этой любви, с кровью оторвать ее от себя и попросить Сесара извлечь из кармана его знаменитый платок. «Этот ужасный платок, – как всегда, театрально, полушутливо, но прозорливо, как Кассандра, заметил тогда антиквар, – которым мы машем, прощаясь навсегда...» Вот, собственно, и вся история.

Одного года хватило, чтобы залечить раны, но этого слишком мало, чтобы изгладились воспоминания. А с другой стороны, и сама Хулия вовсе не собиралась отказываться от этих воспоминаний. К ней уже успели прийти житейская мудрость и зрелость, и – разумеется, под влиянием Сесара – она смотрела на жизнь как на некое подобие дорогого ресторана, где в конце концов тебе обязательно предъявляют счет, однако это вовсе не значит, что тебе необходимо отказаться от полученного удовольствия. Сейчас Хулия размышляла обо всем этом, наблюдая за Альваро, который листал разложенные на столе книги и делал выписки на белых картонных карточках. Внешне он почти не изменился, хотя в волосах его кое-где уже начала пробиваться седина. Все те же спокойные умные глаза... Когда-то она любила эти глаза... и эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами и круглыми отполированными ногтями... Глядя на эти пальцы, перелистывавшие страницы книг или сжимавшие авторучку, Хулия, к своему неудовольствию, ощутила в душе далекий отзвук грусти, который, после короткого размышления, все же решила счесть вполне оправданным. Эти руки уже не вызывали в ней прежних чувств, однако некогда они ласкали ее тело. Она кожей помнила их прикосновения, их тепло – ощущения, следы которых так и не сумели стереть другие руки.

Хулия постаралась сдержать всколыхнувшиеся в ней чувства. Ни за что на свете она не собиралась поддаваться соблазну воспоминаний. И потом, воспоминания – дело второстепенное; она пришла к Альваро не для того, чтобы воскресить свою былую тоску, так что ей надлежало сосредоточить внимание не на бывшем возлюбленном, а на том, что он говорил ей. После первых пяти неловких минут во взгляде Альваро отразилось раздумье: он пытался сообщить, насколько важным может быть дело, заставившее ее вновь прийти к нему через столько времени. Он улыбался ей тепло, как старый друг или товарищ по учебе; в нем не ощущалось напряжения, он был внимателен, готов помочь и тут же принялся за работу – как всегда, спокойно и деловито. Время от времени – как это было знакомо Хулии! – он тихонько рассуждал о чем-то с самим собой, затем снова погружался в молчание. После первого момента удивления при виде нее его взгляд только раз выразил недоумение: когда она заговорила о фламандской доске. Хулия рассказала обо всем, кроме таинственной надписи: ее существование они с Менчу решили держать в тайне. Альваро подтвердил, что знаком с творчеством этого художника и историческим периодом, в который тот жил, хотя он и не знал, что картина будет выставлена на

аукцион и что Хулия занимается ее реставрацией. Ей не пришлось даже показывать ему принесенные с собой цветные фотографии: похоже, Альваро хорошо знал и ту эпоху, и даже изображенных на картине людей. В данный момент он был занят поисками какой-то даты: он водил указательным пальцем по строчкам старого тома истории Средних веков, весь поглощенный делом и, казалось, абсолютно чуждый тому, что так и витало в воздухе, словно призрак былой близости. Хулия так и чувствовала его присутствие. Но, может быть, подумала она, и Альваро испытывает то же самое. Возможно, она тоже кажется ему сейчас далекой и равнодушной.

– Ну вот, – произнес в этот момент Альваро, и Хулия ухватила за звук его голоса, как потерпевший кораблекрушение хватается за любой кусок дерева. Она знала (и от этой мысли ей стало легче), что не сможет делать одновременно две вещи: вспоминать и слушать. Она мысленно спросила себя: правда ли, что все прошло? И без всякой боли ответила утвердительно. По-видимому, это выразилось столь явно, что Альваро бросил на нее удивленный взгляд. После чего вновь посмотрел в книгу, которую держал в руках. Хулия разглядела название на обложке: «Швейцария, Бургундия и Нидерланды в XIV–XV веках».

– Вот, посмотри-ка. – Альваро указал пальцем на имя в тексте, потом на фотографию, лежавшую перед ней на столе. – *FERDINANDUS OST. D.*: так обозначен игрок, сидящий слева, – тот, что в красном. Ван Гюйс написал «Игру в шахматы» в тысяча четыреста семьдесят первом году, так что никаких сомнений быть не может. Речь идет о Фердинанде Альтенхоффене, герцоге Остенбургском, *Ostenburguensis Dux*. Родился в тысяча четыреста тридцать пятом, умер... Да, точно: в тысяча четыреста семьдесят четвертом. Когда он позировал художнику, ему было лет тридцать пять.

Хулия, взяв со стола картонную карточку, записывала.

– Где находится этот Остенбург? Где-нибудь в Германии?

Отрицательно качнув головой, Альваро открыл исторический атлас и ткнул пальцем в одну из карт.

– Остенбург – это герцогство, примерно соответствовавшее Родовингии Карла Великого... Оно находилось вот здесь, на стыке французских и немецких земель, между Люксембургом и Фландрией.

В течение пятнадцатого и шестнадцатого веков остенбургские герцоги старались сохранить свою независимость, и им это удавалось, но кончилось тем, что Остенбург поглотила сперва Бургундия, а позже – Максимилиан Австрийский. Династия Альтенхоффенов прекратила свое существование со смертью Фердинанда, последнего герцога Остенбургского, – того самого, что на картине играет в шахматы... Если хочешь, я тебе сделаю фотокопии.

– Я буду очень благодарна.

– Не стоит, это пустяки. – Альваро откинулся на спинку кресла, достал из ящика письменного стола жестяную коробку с табаком и принялся набивать свою трубку. – Рассуждая логически, дама, сидящая у окна и обозначенная надписью *BEATRIXBURG. OST. D.* – не кто иная, как Беатриса Бургундская, супруга герцога Фердинанда. Видишь?.. Беатриса вышла за последнего из Альтенхоффенов в тысяча четыреста шестьдесят четвертом, в возрасте двадцати трех лет.

– По любви? – спросила Хулия, взглянув на фотографию с улыбкой, значение которой было трудно определить.

Альваро так же коротко, несколько натянуто улыбнулся:

– Ты же знаешь, браки такого рода редко заключались по любви... Этот был устроен дядей Беатрисы – Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, ради укрепления союза с Остенбургом перед лицом Франции, которая стремилась проглотить оба герцогства. – Он тоже бросил взгляд на фотографию и сунул в зубы трубку. – Фердинанду Остенбургскому крупно повезло: он получил в жены красавицу. По крайней мере, так утверждает Никола Флавен, виднейший летописец той эпохи, в своих «Бургундских анналах». Судя по всему, твой ван Гюйс

разделял это мнение. По-видимому, Беатрису рисовали и раньше, поскольку, как указывается в одном документе, который цитирует Пижоан, ван Гюйс некоторое время был в Остенбурге придворным живописцем... Фердинанд Альтенхоффен в тысяча четыреста шестьдесят третьем году назначил ему содержание – сто фунтов в год, из коих половину надлежало ему выплачивать в день святого Иоанна, а вторую половину – на Рождество. В том же документе упоминается о поручении написать портрет Беатрисы – с натуры. Она тогда еще была невестой герцога.

– А есть какие-нибудь другие упоминания о ван Гюйсе?

– Да сколько угодно. Он ведь стал очень известным художником. – Альваро извлек откуда-то папку. – Жан Лемэр в своей «*Couronne Margaritique*», написанной в честь Маргариты Австрийской, правительницы Нидерландов, ставит имена Питера из Брюгге (ван Гюйса), Гуго из Гента (ван дер Гуса) и Дирка из Лувена (Дирка Боутса) рядом с именем того, кого он называет королем фламандских живописцев, – Яна (ван Эйка). В поэме сказано, дословно: «*Pierre de Brugge, qui tant eut les traits utez*», то есть «коего штрихи столь чисты»... Когда писались эти строки, ван Гюйса уже четверть века не было в живых. – Альваро внимательно перебирал карточки. – Вот еще более ранние упоминания. Например, это: в описях имущества Валенсийского королевства указывается, что Альфонс V Великодушный имел произведения ван Гюйса, ван Эйка и других западных мастеров, но что все они исчезли... Упоминает ван Гюйса в тысяча четыреста пятьдесят четвертом году Бартоломео Фацио, близкий родственник Альфонса V, в своей книге «*De viribus illustris*»³, именуя его «*Pietrus Husyus, insignis pictor*»⁴. Другие авторы, особенно итальянские, называют его «*Magistro Piero Van Hus, pictori in Bruggia*»⁵. Вот здесь есть цитата тысяча четыреста семидесятого года, в которой Гуидо Разофалько отзывается об одной из его картин, «Распятия», также не дошедшей до нас, в следующих словах: «*Opera buona di mano di un chiamato Piero di juys, pictor famoso in Flandra*»⁶. А другой итальянский автор, имя которого нам неизвестно, пишет о другой картине ван Гюйса, «Рыцарь и дьявол» (она сохранилась), отмечая: «*magistro Pietrus Juisus magno et famoso flandresco fuit depictum*»⁷... Можешь добавить, что в шестнадцатом веке о нем упоминают Гуиччардини и ван Мандер, а в девятнадцатом – Джеймс Уил в своих книгах о великих фламандских художниках. – Альваро собрал карточки, осторожно вложил их в папку и положил ее на место. Потом, откинувшись на спинку кресла, с улыбкой взглянул на Хулию. – Ты довольна?

– Более чем... – Девушка записала все, что он говорил, и теперь что-то прикидывала, глядя в свои записи. Через мгновение она подняла голову, откинула волосы с лица и с любопытством посмотрела на Альваро. – У меня просто нет слов. Ты словно заранее подготовил эту лекцию. Я потрясена.

Улыбка профессора несколько потускнела, но он отвел глаза, чтобы не встретиться взглядом с Хулией.

Взяв одну из лежавших на столе карточек, он стал пристально изучать ее, как будто написанное на ней внезапно привлекло его внимание.

– Это моя работа, – проговорил он. И Хулия не поняла, почему он произнес это таким странным тоном: то ли его мысли были заняты содержанием карточки, то ли он стремился увести разговор в сторону от этой темы.

– Но ты в своей работе, как всегда, на высоте... – Она несколько секунд с любопытством смотрела на него, затем снова перевела взгляд на записи. – У нас набралось немало данных

³ «О мужах достославных» (лат).

⁴ «Пьетрус Гусиус, знаменитый живописец» (лат).

⁵ «Мастер Пьеро ван Гус, живописец из Брюгге» (лат).

⁶ «Славный труд руки именующего себя Пьеро ди Юйсом, знаменитого живописца во Фландрии» (ит).

⁷ «Мастером Пьетрусом Юисусом, великим и славным фламандцем, была написана» (лат).

об авторе и персонажах картины... – Склонившись над репродукцией фламандской доски, она ткнула кончиком пальца в фигуру второго игрока. – Но об этом – пока ничего.

Занятый разжиганием трубки, Альваро ответил не сразу. Лоб его был нахмурен.

– Его личность точно установить трудно, – ответил он, выпуская клуб дыма. – Надпись не слишком-то ясна, хотя и дает основания для выдвижения определенной гипотезы. *RUTGIER AR. PREUX*... – Он сделал паузу и устремил взгляд на чашечку трубки с таким видом, будто надеялся отыскать в ней подтверждение своей идеи. – *Rutgier* может означать «Роже», «Рохе-лио», «Руджеро» – все, что угодно. Существует по меньшей мере десяток вариантов этого имени, оно было широко распространено в ту эпоху... *Preux* — может быть клановой фамилией, однако в этом случае мы окажемся в тупике, потому что в хрониках нет упоминаний ни о ком, кто носил бы подобную фамилию. Но в эпоху позднего Средневековья слово *preux* употреблялось в значении «храбрый», «рыцарственный». Ну вот тебе пара известных примеров: этим словом сопровождаются имена Ланселота и Роланда... В Англии и Франции, посвящая кого-либо в рыцари, ему говорили: *soyez preux*, то есть: будь верным, отважным. То был своеобразный титул, которым было принято отличать избранных, цвет и красу рыцарства.

По профессиональной привычке, сам того не замечая, Альваро впал в лекторский, почти наставительный тон: это происходило – раньше или позже – всякий раз, когда речь заходила о темах, имеющих отношение к его специальности. Хулия ощутила некоторое душевное смещение: все это бередило старые воспоминания, раздувало уже успевшие покрыться пеплом забвения угольки нежности, занимавшей некогда определенное место в пространстве и во времени и игравшей немалую роль в формировании ее нынешнего характера. То были останки иной жизни и чувств, которые она методично и целеустремленно заталкивала в самый дальний угол своей души: так засовывают на самую высокую полку книгу, которую не собираются перечитывать, и она там покрывается слоем пыли, но... она там, никуда не делась.

Когда человек испытывает то, что испытывала в эти минуты Хулия, необходимо срочно подавить это любыми доступными средствами. Занять мозг мыслями о самых ближайших делах. Говорить, расспрашивать о подробностях, даже если они тебе вовсе не нужны. Наклоняться над столом, делая вид, что целиком поглощена своими записями. Думать о том, что перед ней совсем другой Альваро, не тот, что раньше, – а, вне всякого сомнения, так оно и было. Убедить себя, что все остальное произошло в некую отдаленную эпоху, в стародавние времена и бог знает где. Держаться и чувствовать себя так, словно воспоминания принадлежат не ей и Альваро, а каким-то совсем иным людям, о которых им просто приходилось когда-то слышать и судьба которых их никоим образом не волнует.

Одним из возможных решений проблемы было закурить, Хулия так и сделала. Дым сигареты, проникая в ее легкие, примирял ее с самой собой, как бы впрыскивая ей маленькими порциями безразличие и спокойствие. Хулия неторопливо достала из сумочки сигареты, вынула одну из пачки, зажгла, затаилась, старательно выполняя привычный ритуал. Это немного успокоило ее, и она смогла снова взглянуть в лицо Альваро, давая понять, что готова слушать дальше.

– И какова же твоя гипотеза? – Она прислушалась к собственному голосу и нашла, что он звучит вполне удовлетворительно. Что ж, отлично. – Насколько я понимаю, если слово *PREUX* не является фамилией, ключ к разгадке тайны, возможно, следует искать в аббревиатуре *AR*.

Альваро согласился с ней. Щуря глаза от дыма трубки, он взял другую книгу, раскрыл ее и принялся листать. Найдя то, что искал, он протянул книгу Хулии.

– Посмотри сюда. Роже Аррасский, родился в тысяча четыреста тридцать первом году – том самом, когда англичане сожгли в Руане Жанну д'Арк. Его семья была связана родственными узами с французским королевским домом Валуа. Роже Аррасский родился в замке Бельсанг, по соседству с герцогством Остенбургским.

– Ты думаешь, это он изображен на картине?

– Очень возможно. Вполне вероятно, что *AR* является сокращенным от «Аррас». А Роже Аррасский – об этом говорится во всех хрониках той эпохи – принимал участие в Столетней войне в качестве ближайшего соратника Карла VII, короля Франции. Видишь?.. Участвовал в отвоевании Нормандии и Гиени у англичан, в тысяча четыреста пятидесятом году – в битве при Форминьи, три года спустя – в битве при Кастийоне. Взгляни-ка на эту гравюру. Может, среди этих людей изображен и он: например, вот этот рыцарь в шлеме с опущенным забралом, который в самый разгар сражения отдает королю Франции своего коня взамен убитого под ним, а сам продолжает биться пешим...

– Ты меня удивляешь, профессор. – Она смотрела на него, не скрывая своего изумления. – Какая романтическая история... Не ты ли повторял, что воображение есть злейший враг исторической точности?

Альваро расхохотался от души:

– Считай, что это маленькая вольность, допущенная мной в твою честь во внелекционное время. Разве могу я забыть твою нелюбовь к сухим и голым фактам? Вот, помню, когда мы с тобой...

Он замолчал на полуслове, потому что увидел, как тень легла на лицо Хулии. Воспоминания в этот день были неуместны; почувствовав это, Альваро не стал продолжать.

– Мне жаль, что так вышло, – тихо проговорил он.

– Да ладно, проехали. – Хулия резким движением ткнула сигарету в пепельницу, чтобы загасить, и обожгла себе пальцы. – Если смотреть в корень, в общем-то, виновата была я. – Уже более спокойно она подняла глаза на Альваро. – Так что там с нашим рыцарем?

С явным облегчением Альваро углубился в разъяснения. Роже Аррасский, сказал он, был не только воином: в нем слилось воедино множество качеств и талантов. Он был зеркалом рыцарства. Образцом средневекового дворянина. Поэтом и музыкантом – в свободное время. Его весьма высоко ценили при дворе его кузенов Валуа. Так что титул *Preux* подходил ему как нельзя лучше.

– Он играл в шахматы?

– Это нигде не зафиксировано.

Хулия, увлеченная рассказом, торопливо записывала. Вдруг она перестала писать и взглянула на Альваро:

– Я только не понимаю... – Она прикусила конец шариковой ручки. – Что в таком случае делает этот Роже Аррасский на картине ван Гюйса и с какой стати он играет в шахматы с герцогом Остенбургским?..

Альваро в явном затруднении поерзал в кресле, как будто его внезапно одолели сомнения, затем уперся взглядом в стену за спиной Хулии и погрузился в молчание, нарушаемое лишь покусыванием трубки. Вид у него был такой, словно в его мозгу разыгрывалась некая внутренняя битва. Наконец он осторожно улыбнулся уголком рта.

– Что он там делает, кроме того, что играет в шахматы, я не имею понятия. – И он развел руками, давая понять, что на этом его познания кончаются.

Однако Хулия отчетливо почувствовала, что он смотрит на нее с некоторой опаской, будто не решаясь высказать мысль, вертящуюся у него в голове.

– Единственное, что мне известно, – помолчав, продолжал он, – это что Роже Аррасский умер не во Франции, а в Остенбурге. – И после секундного колебания указал на фотографию фламандской доски: – Ты обратила внимание, когда написана эта картина?

– В тысяча четыреста семьдесят первом. – Хулия была заинтригована. – А что?

Альваро медленно выдохнул дым, затем издал странный сухой звук, похожий на короткий смешок. Теперь он смотрел на Хулию так, словно надеялся прочесть в ее глазах ответ на вопрос, который он не решался сформулировать.

– Тут какая-то неувязка, – произнес он наконец. – Либо дата, указанная на картине, неверна, либо хроники той эпохи врут, либо этот рыцарь – не Роже Аррасский... – Он взял еще одну книгу – репринтное издание «Хроники герцогов Остенбургских», – полистал ее и положил перед Хулией. – Эта книга написана в конце пятнадцатого века Гишаром д'Эйно – он француз, современник тех событий, о которых повествует, и основывается на информации, полученной от непосредственных свидетелей... Так вот, Эйно пишет, что наш рыцарь приказал долго жить в тысяча четыреста шестьдесят девятом, накануне Богоявления. То есть за два года до того, как Питер ван Гюйс написал свою «Игру в шахматы». Понимаешь, Хулия?.. Роже Аррасский никак не мог позировать для этой картины, потому что к моменту ее создания его давно уже не было в живых.

Он проводил ее до автомобильной стоянки факультета и передал папку с фотокопиями. Там почти все, сказал он. Исторические справки, список произведений ван Гюйса, включенных в каталоги, библиография... Он обещал, как только выдастся свободная минутка, составить и прислать ей на дом хронологическую справку и еще кое-что. Потом он замолчал и стоял так, с трубкой во рту, засунув руки в карманы куртки, как будто ему нужно было сказать ей еще что-то, но он сомневался, следует ли это делать.

– Надеюсь, – прибавил он после минутного колебания, – что был тебе полезен.

Хулия, все еще взбудораженная, кивнула. Подробности истории, о которой она только что узнала, так и бурлили у нее в голове. И еще кое-что.

– Я просто потрясена, профессор... Меньше чем за час ты реконструировал жизнь персонажей картины, с которой никогда прежде не имел дела.

Альваро, на мгновение отведя взгляд, поблуждал им по окружающим их зданиям и аллеям университетского городка, потом слегка пожал плечами.

– Ну, нельзя сказать, что мне уж совсем была неизвестна эта картина. – Хулия уловила в его голосе нотку сомнения, и это насторожило ее, хотя она сама вряд ли сумела бы объяснить почему. Она внимательно вслушалась в то, что говорил Альваро. – Между прочим, в одном из каталогов музея Прадо за тысяча девятьсот семнадцатый год имеется ее репродукция... «Игра в шахматы» находилась там на хранении в течение двух десятков лет – точнее, с самого начала века по двадцать третий год, когда ее забрали наследники.

– Я этого не знала.

– Ну, так теперь знаешь. – И Альваро сосредоточил свое внимание на трубке, которая, похоже, почти погасла.

Хулия искоса смотрела на него. Она знала этого человека – пусть даже когда-то в прошлом – слишком хорошо, чтобы не почувствовать, что он чем-то обеспокоен. Чем-то важным, о чем не решается заговорить вслух.

– А о чем ты умолчал, Альваро?

Он ответил не сразу. Некоторое время он стоял неподвижно, с отсутствующим взглядом, посасывая свою трубку. Потом медленно повернулся к Хулии:

– Не понимаю, что ты имеешь в виду.

– Я имею в виду, что мне важно знать все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к этой картине. – Она серьезно взглянула ему в глаза. – Я слишком многое поставила на нее.

Она заметила, как Альваро, словно в нерешительности, прикусил мундштук трубки и сделал какой-то неопределенный жест.

– Ты просто вынуждаешь меня... Похоже, твой ван Гюйс в последнее время начал входить в моду.

– Входить в моду? – Хулия разом напряглась, как будто ощутив колебание земли под ногами. – Ты хочешь сказать, что кто-то уже обращался к тебе по этому поводу?

Альваро неловко усмехнулся, словно сожалел о том, что сказал слишком много.

– Возможно, что так.

– Кто это был?

– Вот в этом-то и вся загвоздка. Я не имею права говорить тебе это.

– Не пори чушь!

– Я не порю. Это правда. – Его взгляд молил о прощении.

Хулия вздохнула глубоко, как могла, чтобы заполнить странную пустоту, которую вдруг ощутила в желудке; где-то внутри у нее включился сигнал тревоги. Но Альваро снова заговорил, и она постаралась слушать внимательно: вдруг где-нибудь промелькнет хоть обрывок информации, способной вывести ее на верный путь. Альваро хотел бы взглянуть на фламандскую доску. Разумеется, если Хулия не против. Ну и, конечно, повидаться с ней еще раз.

– Я все смогу объяснить тебе, – закончил он, – когда наступит момент.

Возможно, желание увидеть картину – всего лишь предлог, пришло в голову девушке. Он вполне способен разыграть этот спектакль, ради того чтобы повидаться с ней. Чтобы скрыть волнение, она закусила нижнюю губу. В душе ее боролись ван Гюйс и воспоминания, ничего общего не имевшие с причиной ее прихода к Альваро.

– Как поживает ваша супруга? – не в силах противостоять соблазну, спросила она самым что ни на есть непринужденным тоном. Затем чуть подняла лукавый взгляд на Альваро, разом выпрямившегося и напрягшегося.

– Спасибо, хорошо, – сухо ответил он, прилежно, как нечто новое и незнакомое, рассматривая зажатую в пальцах трубку. – Она сейчас в Нью-Йорке, готовит одну выставку.

В памяти Хулии мелькнул образ миловидной светловолосой женщины в коричневом английском костюме, выходящей из автомобиля. Она тогда видела ее мельком – едва ли в течение пятнадцати секунд, но это видение разом, словно одним разрезом скальпеля, отсекло ее молодость от всей остальной жизни. Хулия смутно помнила, что жена Альваро работает по линии департамента культуры – что-то связанное с выставками и частыми разъездами по служебным делам. В течение довольно долгого времени это обстоятельство значительно упрощало дело. Альваро никогда не говорил о жене, Хулия тоже не задавала вопросов; однако оба постоянно ощущали ее невидимое присутствие: она стояла между ними, подобно призраку. И этот призрак – пятнадцатисекундное видение женского лица – в конце концов одержал верх.

– Надеюсь, у вас все в порядке.

– Да, в общем, все нормально. Даже, я бы сказал, хорошо.

– Ясно.

Пару минут они шли молча, не глядя друг на друга. Наконец Хулия прищелкнула языком и склонила голову к плечу, улыбаясь в пространство.

– Ладно, раз уж теперь все это не имеет особого значения... – Она остановилась перед Альваро, оперев руки в бока. Губы ее дерзко улыбались, в глазах плясали чертики. – Что ты думаешь обо мне – теперь?

Прищурившись, он оглядел ее с головы до ног, помолчал, словно в раздумье.

– Ты прекрасно выглядишь... Честное слово.

– А ты – как ты себя чувствуешь?

– Скажем так – не слишком уверенно. – В его улыбке сквозила грусть. – И частенько задаю себе вопрос: правильное ли решение я принял год назад?

– Ну, теперь ты уже никогда этого не узнаешь.

– Кто знает...

Он все еще очень привлекателен, подумала Хулия, чувствуя укол прежней тоски и одновременно недовольства собой. Она посмотрела ему в глаза, перевела взгляд на его руки, отдавая себе отчет в том, что ступает на лезвие бритвы, по обеим сторонам которого две бездны: одна притягивает, другая отталкивает.

– Картина у меня дома, – ответила она осторожно, уклоняясь даже от намека на какие бы то ни было обещания; а сама в этот момент силилась привести в порядок свои мысли, желая

убедиться в том, что с такой болью обретенная, в прямом смысле слова выстраданная твердость не изменила ей. Необходимо быть настороже: слишком уж рискованно предаваться чувствам и воспоминаниям. Ван Гюйс – прежде всего.

Это соображение помогло ей собраться с мыслями. Хулия пожала протянутую ей руку, ощутив в ответном пожатии неуверенность и напряжение. Это воодушевило ее, вызвав в душе тайную недобрую радость. И тогда – словно бы поддавшись внезапному порыву, но все же вполне преднамеренно – она быстро поцеловала Альваро в губы: так сказать, авансом, чтобы подбодрить. Затем, открыв дверцу своего маленького белого «Фиата», скользнула внутрь.

– Если захочешь увидеть картину, заходи ко мне, – как ни в чем не бывало бросила она, включая зажигание. – Завтра, во второй половине дня. И спасибо за все.

Ему этого хватит за глаза. Она увидела в зеркальце его удаляющуюся фигуру с поднятой для прощального приветствия рукой, здания университетского городка, красный кирпичный корпус факультета. Усмехнувшись про себя, Хулия лихо проскочила на красный свет. «Ты клюнешь на эту наживку, профессор, – злорадно думала она. – Уж не знаю почему, но кто-то где-то явно собирается сыграть какую-то нехорошую шутку. И ты скажешь мне, кто это, или я буду не я».

Пепельница на столике возле дивана была битком набита окурками. До поздней ночи, лежа на диване, Хулия читала при свете маленькой лампочки. И мало-помалу история картины, самого художника и его героев оживала, становилась все более осязаемой. Хулия читала жадно, напряженно, впитывая в себя информацию, ловя малейшие подробности, способные указать путь к разгадке тайны этой странной шахматной партии, разыгрывавшейся на стоящем напротив мольберте, едва видимом в полумраке студии.

«...Освободившись в 1453 году от вассальной зависимости от Франции, герцоги Остенбургские пытались удержать зыбкое равновесие, балансируя между Францией, Германией и Бургундией. Политика, проводимая Остенбургом, вызвала опасения у Карла VII, короля Франции, боявшегося, что герцогство окажется поглощенным Бургундией, которая к тому времени усилилась настолько, что стремилась образовать независимое королевство. Над этой небольшой частью Европы бушевал целый смерч дворцовых интриг, политических альянсов и заключавшихся в глубокой тайне пактов. Опасениям Франции еще более способствовал заключенный в 1464 году брак между сыном и наследником герцога Вильгельма Остенбургского, Фердинандом, и Беатрисой Бургундской, племянницей Филиппа Доброго и двоюродной сестрой будущего герцога Бургундии Карла Отважного.

Таким образом, в те решающие для будущего Европы годы остенбургский двор стал ареной борьбы двух непримиримо враждовавших между собой партий: бургундской, ратававшей за слияние с соседним герцогством, и французской, выступавшей за воссоединение с Францией. Непрерывной борьбой между этими двумя силами и характеризовался весьма бурный период правления Фердинанда Остенбургского вплоть до самой его смерти, последовавшей в 1474 году...»

Хулия опустила папку на пол и села на диване, обхватив колени руками. Некоторое время в студии царила абсолютная тишина. Хулия сидела неподвижно, пытаясь осмыслить только что узнанное. Затем встала, подошла к картине. *Quis necavit equitem*. Вытянув указательный палец, Хулия осторожно, не прикасаясь, провела им там, где находилась загадочная надпись, спрятанная ван Гюйсом под несколькими слоями зеленой краски, которой он изобразил покрывавшее стол сукно. Кто убил рыцаря. Теперь, после знакомства с материалами, раздобытыми у Альваро, эта фраза, скрытая в недрах едва освещенной маленькой лампочкой картины, приобрела для Хулии зловеще конкретный смысл. Наклонившись к фламандской доске так близко, что

едва не коснулась ее лицом, девушка до боли в глазах всмотрелась в фигуру, обозначенную словами *RUTGIER AR. PREUX*. Был ли это действительно Роже Аррасский или кто-то другой, Хулия вдруг ощутила абсолютную уверенность в том, что скрытая надпись относится именно к нему. Несомненно, тут нечто вроде загадки; однако непонятно, какую роль во всем этом играют шахматы. Играют. А может, это и правда всего лишь игра?

Хулия почувствовала внезапное раздражение – как тогда, когда ей приходилось брать в руки скальпель, чтобы справиться с не желающим отделяться лаком. Она заложила сплетенные руки за голову, прикрыла глаза. Открыв их через несколько минут, она вновь увидела перед собой профиль неизвестного рыцаря, поглощенного игрой, сосредоточенно нахмурившего лоб. А он красив, подумала Хулия, без сомнения, он был весьма привлекательный мужчина. Весь его облик дышал достоинством и благородством, и ван Гюйс явно намеренно подчеркнул это целым рядом деталей. А кроме того, голова рыцаря находилась точно на пересечении линий, составляющих в живописи так называемое золотое сечение: все классики, еще со времен Витрувия, пользовались этим законом живописной композиции, чтобы уравновесить расположение фигур на картине...

Это открытие поразило Хулию. Если бы ван Гюйс, создавая эту картину, задался целью выделить фигуру герцога Фердинанда Остенбургского – которому, вне всякого сомнения, подобная честь должна была бы принадлежать в силу его более высокого положения, – ему следовало бы, согласно правилам, поместить ее в точке золотого сечения, а не в левой части композиции. То же самое относилось и к Беатрисе Бургундской, изображенной художником в правой части картины, у окна, да еще на втором плане. Исходя из всех этих соображений, напрашивался вывод: главная фигура на фламандской доске – не герцог, не герцогиня, а *RUTGIER AR. PREUX* — возможно, Роже Аррасский. Но Роже Аррасского к тому времени уже не было в живых.

Направляясь к одному из набитых книгами шкафов, Хулия не отводила взгляда от картины – продолжала смотреть на нее через плечо, словно боясь, что, отвернись она хоть на мгновение, кто-то из изображенных на ней людей шевельнется. Черт бы побрал этого Питера ван Гюйса! Хулия произнесла это почти вслух. Напридумывал всяких загадок, которые спустя полтысячи лет лишают ее сна. Вытащив том «Истории искусства» Ампаро Ибаньес, посвященный фламандской живописи, Хулия снова уселась с ногами на диван, закурила которую уже по счету сигарету и раскрыла книгу... Ван Гюйс, Питер. Брюгге, 1415 – Гент, 1481...

«...Отдавая, как придворный живописец, должное вышивкам, драгоценностям и мраму, ван Гюйс тем не менее является художником буржуазного склада: это явственно сказывается в семейной, бытовой атмосфере изображаемых им сцен, в деловитом, практичном взгляде на вещи, подмечающем мельчайшие детали. В нем сильно влияние Яна ван Эйка, а еще более – его учителя, Робера Кампена. Ван Гюйс взирает на окружающий мир спокойным, невозмутимым, аналитическим взглядом фламандца. Вместе с тем, будучи неизменным приверженцем символического искусства, он закладывает в изображаемые им образы и предметы второй, глубинный смысл (закупоренный стеклянный сосуд или дверь в стене как намеки на непорочность Марии в «Деве молящейся», игра света и теней вокруг очага в «Семействе Лукаса Бремера» и т. п.). Мастерство ван Гюйса воплощено в четких и чистых контурах фигур и предметов, в виртуозном решении наиболее сложных для той эпохи проблем живописи – таких, как пластическая организация поверхности, нигде не прерываемый контраст между полумраком помещения и дневным светом или тень, меняющаяся в зависимости от формы и фактуры того, на что она падает.

Сохранившиеся произведения: «Портрет ювелира Вильгельма Вальгууса» (1448), музей Метрополитен, Нью-Йорк. «Семейство Лукаса Бремера» (1452), галерея Уффици, Флоренция. «Дева молящаяся» (ок. 1455), музей Прадо, Мадрид. «Ловенский меняла» (1457), частная кол-

лекция, Нью-Йорк. «Портрет купца Матиаса Концини и его супруги» (1458), частная коллекция, Цюрих. «Антверпенский складень» (ок. 1461), Венская художественная галерея. «Рыцарь и дьявол» (1462), Рийксмузеум, Амстердам. «Игра в шахматы» (1471), частная коллекция, Мадрид. «Снятие с креста» (ок. 1478), собор Св. Бавона, Гент».

В четыре часа утра, когда во рту начало нестерпимо горчить от выкуранных сигарет и выпитого кофе, Хулия закончила читать. Теперь история художника, картины и ее персонажей обрела для нее плоть и кровь. Эти люди были уже не просто фигурами, написанными маслом на дубовой доске, а реальными существами, некогда заполнявшими собой определенное время и пространство между жизнью и смертью. Питер ван Гюйс, художник. Фердинанд Альтенхоффен и его супруга Беатриса Бургундская. И Роже Аррасский. Теперь уже точно он, потому что Хулия нашла-таки доказательство того, что изображенный на картине рыцарь, игрок, изучающий расположение шахматных фигур так серьезно и сосредоточенно, словно от этого зависит его жизнь, действительно был Роже Аррасским, родившимся в тысяча четыреста тридцать первом году и умершим в тысяча четыреста шестьдесят девятом, в Остенбурге. У Хулии не оставалось ни малейшего сомнения в этом. Как и в том, что таинственным связующим звеном между ним, другими персонажами и художником является эта картина, написанная через два года после его гибели. Подробное описание которой сейчас лежало у нее на коленях в виде фотокопии одной из страниц «Хроники» Гишара д'Эйно.

«...Итак, в самый канун Богоявления года тысяча четыреста шестьдесят девятого от Рождества Христова, когда мессир Рогир д'Аррас прогуливался, как он имел обыкновение вечерами, по заходе солнца, вблизи рва, называемого рвом восточных ворот, некто, сокрытый тьмою, выстрелил в него из арбалета и пронзил ему грудь стрелой навывлет. Сеньор д'Аррас пал на месте, громким голосом взывая и прося исповеди, но, когда прибежали к нему на помощь, душа его уже покинула тело, отлетев чрез отверстие рану. Кончина мессира Рогира, по справедливости именовавшегося зеркалом рыцарства и доблестнейшим из дворян, причинила немалое огорчение тем, кои в Остенбурге держали руку Франции, каковых приверженцем слыл и мессир Рогир. По сем печальном деле поднялись голоса, возлагавшие вину за оное на стоявших за Бургундский дом. Иные же полагали, что причиною его явились дела любовные, к коим немало пристрастен был злосчастный сеньор д'Аррас. Иные склонялись даже к тому, что сам герцог Фердинанд тайно направил руку убийцы в грудь мессира Рогира, будто бы осмелившегося взглянуть глазами любви на герцогиню Беатрису. И подозрение сопровождало герцога до самой его кончины. Так завершилось сие печальное дело, и убийц не открыли никогда, а люди, толкуя меж собою на папертях и рыночных площадях, говорили, будто некая могущественная рука споспешествовала их сокрытию. И так надлежащая кара осталась препорученной руке Божией. А был мессир Рогир мужем достойным, прекрасным ликом и телом, хоть и довелось ему во многих войнах сражаться, служа французской короне, прежде того как прибыл он в Остенбург, дабы служить герцогу Фердинанду, с коим некогда делил детство и отрочество. И был горестно оплакан он многими дамами. А имел он от роду тридцать восемь лет и пребывал во всем цвете их, когда рука убийцы сразила его...»

Хулия выключила лампу и некоторое время сидела в темноте, откинувшись головой на спинку дивана и глядя на единственную яркую точку – тлеющий кончик сигареты, которую держала в руке. Сейчас она не могла видеть стоявшую перед ней картину, да ей и не нужно было. Фламандская доска уже успела так крепко запечатлеться на сетчатке ее глаз и в ее мозгу, что даже так, в полном мраке, Хулия отчетливо видела ее – вплоть до мельчайших подробностей.

Она зевнула, потерла ладонями лицо. Она испытывала сложное, смешанное ощущение – усталости и одновременно эйфорического подъема, ощущение одержанной победы – неполной, но волнующей и возбуждающей: так человека, находящегося на середине долгого и уто-

мительного пути, вдруг посещает предчувствие, что он сумеет дойти до конца. Пока что ей удалось приподнять лишь самый краешек завесы тайны, окутывавшей фламандскую доску; еще многое предстояло выяснить и узнать. Но кое-что уже было ясно как божий день: в этой картине нет ничего случайного или малозначашего. Все подчинялось определенному плану, определенной цели, а цель эта выражалась в вопросе «Кто убил рыцаря?», который кто-то вполне преднамеренно, из страха или каких-нибудь только ему известных соображений, закрасил или приказал закрасить. И Хулия собиралась выяснить, что скрывается за всем этим, – что бы это ни было. В эту минуту, сидя в темноте, докуривая энную сигарету, слегка ошавев от бессонной ночи и усталости, с головой, едва не лопающейся от средневековых образов и свиста стрел, выпущенных ночью в спину, девушка думала уже не о реставрации картины, а о том, как раскрыть ее тайну. Это будет даже забавно, подумала она за секунду до того, как погрузилась в сон: участников этой истории уже давным-давно нет на свете, и даже их скелеты в могилах, наверное, успели рассыпаться в пыль, а она, Хулия, вдруг возьмет да и найдет ответ на вопрос, заданный художником-фламандцем по имени Питер ван Гюйс полтысячи лет назад. Ответ на вопрос... загадку... вызов, брошенный и долетевший сквозь пятивековое молчание...

2. Лусинда, Октавио, Скарамучча

*– По-моему, Зазеркалье страшно похоже на шахматную доску, –
сказала наконец Алиса.*

Л. Кэрролл

Дверной колокольчик антикварного магазина приветствовал Хулию звонким «динь-дилинь». Всего несколько шагов – и она почувствовала, как ее буквально обволакивает такое знакомое ощущение покоя и домашнего уюта. Она всякий раз испытывала его, приходя сюда. Все ее воспоминания, начиная с самых ранних, были пронизаны этим мягким золотистым светом, в котором безмолвно грезили о прошлом бархатные и шелковые кресла, резные консоли в стиле барокко, тяжелые ореховые бюро, ковры, фигурки из слоновой кости, фарфоровые статуэтки и потемневшие от времени картины; изображенные на них люди в черных, будто траурных, одеждах строго и сурово взирали из своих рам на ее детские игры. За годы, минувшие с тех пор, многие вещи исчезли, уступив место другим, однако общее впечатление, бережно хранимое душой Хулии, оставалось неизменным: ряд комнат, озаренных мягким светом, словно бы обнимающим расставленные и разбросанные в гармоничном беспорядке вещи и предметы самых разных эпох и стилей. А среди них – три изящные фарфоровые, расписанные вручную фигурки работы Бустелли: Лусинда, Октавио и Скарамучча, персонажи комедии дель арте. Они были гордостью Сесара, а также любимыми игрушками Хулии в ее детские годы. Возможно, именно поэтому антиквар так и не пожелал расстаться с ними и продолжал держать их, как и прежде, в особой небольшой витрине, расположенной в глубине магазина, возле витража в свинцовом переплете, обрамлявшего выход во внутренний дворик: там Сесар обычно сидел и читал – Стендаля, Манна, Сабатини, Дюма, Конрада, – пока колокольчик не извещал о приходе очередного клиента.

– Здравствуй, Сесар.

– Здравствуй, принцесса.

Сесару было, наверное, за пятьдесят (Хулии ни разу не удалось вырвать у него чистосердечное признание относительно его возраста). В его голубых глазах всегда играла насмешливая улыбка, как у мальчишки-шалуна, для которого самое большое удовольствие на свете – это поступать наперекор миру, в котором его заставляют жить. Всегда тщательно уложенные волнистые волосы Сесара были снежно-белы (Хулия подозревала, что он уже не первый год добивался этого эффекта химическими средствами), и он все еще сохранял отличную фигуру – может, лишь чуть раздавшуюся в бедрах, – которую весьма умело облачал в костюмы безупречно-изысканного покроя; пожалуй, единственным маленьким «но» являлась некоторая их смелость, если учитывать возраст владельца. Сесар никогда, даже в самом избранном светском обществе, не носил галстуков, заменяя их великолепными итальянскими шейными платками, которые завязывал изящным узлом, оставляя незастегнутым ворот рубашки; а рубашки у него были исключительно шелковые, помеченные его инициалами, вышитыми в виде белого или голубого вензеля чуть ниже сердца. Вот таким был Сесар. А кроме того, человеком высочайшей, рафинированной культуры: подобных ему Хулия среди своих знакомых могла пересчитать по пальцам. А еще в Сесаре, как ни в ком другом, воплощалась идея, что в людях высшего общества безукоризненная учтивость является выражением крайнего презрения к остальным. Из всего окружения антиквара (под каковым, возможно, следовало подразумевать все человечество) Хулия была единственной, кто, оказываясь предметом этой учтивости, мог воспринимать ее спокойно, зная, что презрение к ее персоне никак не относится. Ибо всегда – с тех пор, как она помнила себя, – Сесар был для нее своеобразным гибридом отца, наперсника,

друга и духовного наставника, хотя не являлся в полном смысле слова ни тем, ни другим, ни третьим, ни четвертым.

– У меня проблема, Сесар.

– Прошу прощения. В таком случае у нас проблема. Так что рассказывай все.

И Хулия рассказала ему все, не опустив ни одной подробности. Повела и о таинственной надписи; на это сообщение антиквар отреагировал только легким движением бровей. Они сидели у витража в свинцовом переплете, и Сесар слушал, чуть наклонившись к ней: нога на ногу – правая на левой, рука, украшенная золотым перстнем с дорогим топазом, небрежно покоится на запястье другой, точнее, на часах «Патек Филипп». Вот эта изысканная небрежность, отнюдь не наигранная (а возможно, уже давно переставшая быть наигранной), так неотразимо действовала на беспокойные юные головы, стремящиеся к утонченным ощущениям: на разных свежее испеченных художников, скульпторов и представителей иных искусств. Сесар брал их под свое крыло и опекал с преданностью и постоянством, на которые – следовало отдать ему должное – никоим образом не влияло прекращение их романтических отношений: эти периоды никогда не бывали у него слишком долгими.

– Жизнь коротка, а красота эфемерна, принцесса. – Сесар произносил это вкрадчиво, доверительно, почти шепотом, а на губах его играла меланхолическая и одновременно насмешливая улыбка. – Было бы просто несправедливо обладать ею вечно... Самое прекрасное – это научить летать юного воробышка, ибо его свобода заключает в себе твое самоотречение... Ты улавливаешь всю тонкость этой параболы?

Хулия (как она сама признала однажды вслух, когда Сесар, посмеиваясь, но явно чувствуя себя польщенным, обвинил ее в том, что она устраивает ему сцену ревности) испытывала по отношению к этим «воробышкам», вечно порхавшим вокруг антиквара, необъяснимое раздражение, выражать которое ей не давала лишь привязанность к Сесару да старательно доказываемая самой себе мысль, что он, в конце концов, имеет полное право жить своей собственной жизнью. Как – по своему обыкновению, бестактно – не раз говорила Менчу: «У тебя, детка моя, просто комплекс Электры, переодетой Эдипом. Или наоборот...» В отличие от парабол Сесара, всегда несших глубокий скрытый смысл, параболы Менчу били не в бровь, а в глаз без всякого камуфляжа, и притом наотмашь.

Когда Хулия закончила свой рассказ, антиквар некоторое время молчал, обдумывая и взвешивая услышанное. Потом чуть наклонил голову в знак согласия. История фламандской доски, похоже, не произвела на него особого впечатления – в делах, связанных с искусством, да с учетом его возраста и опыта, немного осталось вещей, способных сильно впечатлить его, – однако в его обычно насмешливо поблескивающих глазах промелькнула искорка интереса.

– Прелестно, – негромко произнес он, и Хулия поняла, что может рассчитывать на него. Сколько она себя помнила, это слово в устах Сесара всегда означало приглашение к обществу, к приключению, к разведыванию какой-нибудь тайны: была ли то тайна пиратского сокровища, спрятанного в одном из ящиков резного елизаветинского комода (который Сесар в конце концов продал какому-то музею), или воображаемая история дамы в кружевном платье с портрета, приписываемого Энгру, возлюбленный которой, гусарский офицер, якобы пал в битве при Ватерлоо, во время кавалерийской атаки, крича навстречу ветру имя владычицы своего сердца... Так, ведомая за руку Сесаром, Хулия прожила добрую сотню жизней, наполненных сотнями приключений; и каждое из них устами Сесара учило ее ценить красоту, самоотверженность, нежность, находить тончайшее, живейшее наслаждение в созерцании произведения искусства, прозрачной белизны фарфора или даже просто скромного отражения солнечного луча на стене, радужно преломленного хрусталем.

– Прежде всего, – говорил тем временем Сесар, – мне нужно хорошенько ознакомиться с этой картиной. Я мог бы заехать к тебе завтра, поближе к вечеру, скажем, в половине восьмого.

– Хорошо. Только... – Хулия чуть замялась. – Возможно, Альваро тоже приедет.

– Очаровательно. Я уже давненько не встречался с этим подонком, так что мне будет крайне приятно забросать его отравленными стрелами, замаскированными под изящные перифразы.

– Пожалуйста, Сесар!..

– Не беспокойся, дорогая. Я буду держаться вполне доброжелательно, раз уж таковы обстоятельства... Моя рука, разумеется, нанесет ему рану, но ни единой капли крови не прольется на твой персидский ковер. Который, кстати, давно следовало бы почистить.

Хулия устремила на него взгляд, исполненный нежности, и обеими руками взяла его за руки.

– Я люблю тебя, Сесар.

– Я знаю. Это вполне нормально. Это происходит почти со всеми.

– За что ты так ненавидишь Альваро?

То был дурацкий вопрос, и Сесар взглянул на нее с мягким укором.

– Он заставил тебя страдать. – Голос антиквара звучал серьезно и торжественно. – Если бы ты позволила мне, я вполне был бы способен вырвать ему глаза и кинуть их собакам, бродящим по пыльным дорогам Фив. Все в соответствии с классикой. А ты могла бы изображать хор: представляю, как ты была бы хороша в пеплуме, с обнаженными руками, воздетыми к Олимпу. А боги там, наверху, храпели бы после очередного обильного возлияния.

– Возьми меня замуж, Сесар. Вот прямо сейчас.

Сесар взял ее руку и поцеловал, едва коснувшись губами.

– Когда ты вырастешь, принцесса.

– Я уже выросла.

– Нет еще. Но когда ты действительно вырастешь, я осмелюсь сказать Твоему Высочеству, что я любил тебя. И что боги, проснувшись, отняли у меня не все. Только мое королевство. – Он чуть поколебался, точно раздумывая. – Впрочем, если хорошенько поразмыслить, это мелочь, не имеющая ровно никакого значения.

Всю жизнь, всю их дружбу шел между ними этот понятный лишь им двоим диалог, исполненный нежности и воспоминаний. После слов Сесара воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем старинных часов, в ожидании покупателя отмеривающих, как звонкие капли времени, секунду за секундой.

– В общем, – проговорил наконец Сесар, – если я все правильно понял, речь идет о расследовании убийства.

Хулия удивленно взглянула на него.

– Любопытно, что ты воспринял это именно так.

– А как же иначе? Ведь речь идет именно об убийстве. Какая разница, что произошло оно в пятнадцатом веке...

– Да, конечно. Но это слово – «убийство» – придает всему более мрачную окраску. – Хулия усмехнулась чуть нервно. – Может, вчера я слишком устала, чтобы взглянуть на дело под таким углом, но до сих пор я видела в нем нечто вроде игры – просто игры. Знаешь, как эти ребусы, которые приходится расшифровывать... Вопрос моей профессиональной компетентности и моего самолюбия.

– Ну и?..

– Ну а теперь ты эдак запросто заявляешь мне, что речь идет о расследовании настоящего убийства! И вот только что, минуту назад, до меня дошло, что это действительно так... – Она на мгновение замолкла с раскрытым ртом, словно заглянув в бездонную пропасть. – Ты понимаешь? Кто-то убил или приказал убить Роже Аррасского в канун Богоявления тысяча четыреста шестьдесят девятого года. И картина рассказывает, кто это сделал. – От волнения Хулия даже привстала со стула. – В нашей власти разгадать загадку, которой уже пять веков...

Может, именно это событие изменило ход кусочка истории Европы... Ты представляешь, как может подняться цена «Игры в шахматы» на аукционе, если нам удастся доказать все это?

Не в силах усидеть на месте, Хулия вскочила и закончила этот монолог уже стоя, наклонившись к Сесару и опираясь руками о розовую мраморную доску стоявшего рядом круглого столика. Антиквар смотрел на нее вначале с удивлением, затем с восхищением.

– Да, дело может дойти до нескольких миллионов, – согласился он, кивая. – Даже до многих миллионов, – добавил он убежденно после секундного размышления. – Если хорошо организовать рекламу, «Клэймор» может утроить или даже учетверить стартовую цену... Эта твоя картина и правда настоящее сокровище.

– Нам нужно повидаться с Менчу. Прямо сейчас.

Сесар покачал головой, придав своему лицу выражение оскорбленного достоинства.

– Ну, это уж нет, дорогая. Даже не напоминай мне об этой кукле. Не желаю иметь с ней ничего общего... Я полностью к твоим услугам, но только на соответствующем расстоянии от нее.

– Не капризничай, Сесар. Ты мне нужен.

– И я в твоём абсолютном распоряжении, принцесса. Но избавь меня от необходимости общаться с этой отреставрированной Нефертити и ее очередными альфонсами, а проще говоря – сутенерами. От этой твоей приятельницы у меня всегда разыгрывается мигрень. – Он указал пальцем на висок: – Вот здесь, здесь, видишь?

– Сесар...

– Ладно, сдаюсь. *Vae victis*⁸. Так и быть, я встречусь с твоей Менчу.

Хулия звонко расцеловала его в безупречно выбритые щеки, ощутив при этом исходящий от него запах мирры. Одеколон Сесар покупал в Париже, а шейные платки – в Риме.

– Я люблю тебя, антиквар. Просто обожаю.

– Лесть. Бесстыдная лесть. И от кого? От тебя – мне, в мои-то годы.

Менчу тоже покупала духи в Париже, но более крепкие, чем у Сесара. Когда она быстрым шагом – одна, без Макса – вошла в вестибюль отеля «Палас», о ее приближении возвестила, подобно герольду, целая волна ароматов «Румбы» от Баленсиаги.

– У меня есть новости. – Прежде чем сесть, она потрогала пальцем нос и несколько раз резко и коротко вздохнула. Она успела сделать техническую остановку в туалете, и на ее верхней губе еще виднелось несколько крохотных частичек белого порошка; Хулии была хорошо известна причина ее приподнятого настроения. – Дон Мануэль ждет нас у себя дома, чтобы поговорить о деле.

– Дон Мануэль?

– Да, детка моя. Владелец фламандской доски. Что-то ты стала плохо соображать. Мой очаровательный старикашка.

Они заказали по некрепкому коктейлю, и Хулия посвятила подругу в результаты своих исследований.

Менчу мысленно прикидывала возможные проценты, и глаза ее открывались все шире и шире.

– Это здорово меняет дело. – Она взялась подсчитывать, чертя кроваво-красным ногтем указательного пальца по льняной скатерти. – Тут уж моих пяти процентов маловато. Так что я поставлю перед ребятами из «Клэймора» вопрос ребром: из пятнадцати процентов комиссионных от суммы, за которую будет продана картина, семь с половиной им, семь с половиной – мне.

– Они не согласятся. Это же выходит намного меньше того, что они получают обычно.

⁸ Горе побежденным (лат).

Менчу рассмеялась, прикусив зубами край бокала.

– Им придется согласиться, – сказала она. – Кроме «Клэймора», существуют еще «Сотби» и «Кристи», до их офисов отсюда рукой подать, и они просто взвоят от восторга от одного намека на перспективу заполучить ван Гюйса. Тут уж «Клэймору» придется решать: либо синица в руке, либо журавль в небе.

– А владелец? А вдруг твой очаровательный старикашка возьмет да и скажет свое слово? Например, захочет сам, напрямую, вести дела с «Клэймором». Или с другими.

Менчу хитро усмехнулась:

– Ни черта подобного. Он подписал мне бумажку. И потом, – она указала на свою юбку, более чем щедро открывавшую взорам обтянутые темными чулками ноги, – как видишь, я оделась по-боевому. Мой дон Мануэль рассиропится как миленький, или я уйду в монастырь. – Она закинула ногу на ногу, затем поменяла их местами (демонстрация, рассчитанная на сидевших за соседними столиками мужчин) и, видимо довольная произведенным эффектом, снова занялась своим коктейлем. – Что же касается тебя...

– Я хочу полтора процента от твоих семи с половиной.

Менчу чуть не хватил удар.

– Это же целая куча деньжищ! – возмущенно завопила она. – Втрое или вчетверо больше, чем мы договаривались за реставрацию.

Хулия спокойно пережидала бурю, достав из сумочки пачку «Честерфилда» и закулив. Когда Менчу на миг умолкла, чтобы глотнуть воздуха, она пояснила:

– Ты меня не поняла. Гонорар за мою работу отчисляется от той суммы, которую получит твой дон Мануэль после продажи картины. – Она выдохнула длинную струю дыма. – Я говорила о других процентах – от того, что получишь ты. Если фламандская доска будет продана за сто миллионов, семь с половиной из них пойдет «Клэймору», шесть – тебе, полтора – мне.

– Ничего себе! – Менчу недоверчиво покачала головой. – Кто бы мог подумать: ты, такая тихоня, вечно со своими кисточками и баночками... А тебе, оказывается, палец в рот не клади.

– Что же делать, жизнь такая. Дружба дружбой, но кушать ведь тоже хочется.

– У меня от тебя просто волосы дыбом, честное слово. Я пригрела змею на своей левой груди. Как Аида. Или кто это был – Клеопатра?... Я и не знала, что ты так хорошо умеешь высчитывать проценты.

– Поставь себя на мое место. В конце концов, ведь это я вытащила на свет божий всю эту историю. – Хулия помахала пальцами перед лицом подруги. – Вот этими самыми ручками.

– Ты пользуешься тем, что у меня чересчур доброе сердце. Ты, невинный цыпленочек с когтями.

– Ну, куда моим когтям до твоих...

Менчу испустила мелодраматический вздох. У ее драгоценного Макса выдирали изо рта кусок хлеба, но, в конце концов, договориться всегда можно. Дружба, между прочим, тоже кое-чего стоит. В этот момент она взглянула в сторону двери бара, и лицо ее приняло загадочное выражение. «Ну конечно, – подумала Хулия. – О дерьме подумашь, оно и...»

– Макс?

– Пожалуйста, не делай такой кислой гримасы. Макс – просто прелесть. – Менчу повела глазами в сторону двери и чуть прищурилась, как бы приглашая Хулию понаблюдать исподтишка за кем-то, только что вошедшим. – Тут Пако Монтегрифо. Из «Клэймора». И он нас заметил.

Монтегрифо был директором мадридского филиала «Клэймора». Высокий интересный мужчина около сорока, он одевался со строгой элегантностью итальянского князя. Его пробор был так же безупречен, как его галстуки, а улыбка открывала великолепный ряд зубов, слишком безукоризненно ровных, чтобы быть настоящими.

– Добрый день, сеньоры. Какая приятная неожиданность.

Он стоял, пока Менчу познакомила его с Хулией.

– Я видел некоторые из ваших работ, – сказал он, узнав, что это она занимается ван Гюйсом. – Могу сказать только одно: изумительно.

– Благодарю вас.

– Не за что: это не комплимент. Не сомневаюсь, что и «Игра в шахматы» будет сделана на том же уровне. – Он снова обнажил в профессиональной улыбке белый ряд зубов. – Мы возлагаем большие надежды на эту доску.

– Мы тоже, – отозвалась Менчу. – Такие большие, что вы и представить себе не можете.

Монтегрифо, видимо, уловил что-то необычное в тоне, каким были произнесены эти слова, потому что в его карих глазах появилось выражение настороженного внимания. «А он совсем не дурак», – подумала Хулия. Монтегрифо тем временем вопросительно кивнул в сторону свободного стула.

– Меня, правда, ждут, – сказал он, – но несколькими минутами я располагаю. Вы позволите?

Он сделал отрицательный знак подошедшему было официанту и сел напротив Менчу. Он по-прежнему излучал приветливость, но теперь в ней ощущалось некое осторожное ожидание: так прислушиваются, не повторится ли раздавшийся вдали неясный звук.

– Что, какие-нибудь проблемы? – спокойно спросил он.

Менчу покачала головой. Абсолютно никаких проблем. Никаких причин для беспокойства. Но Монтегрифо и не выглядел обеспокоенным: лицо его выражало просто вежливый интерес.

– Возможно... – Менчу слегка поколебалась, – возможно, нам придется пересмотреть условия нашего договора.

Воцарилось неловкое молчание. Монтегрифо глядел на Менчу с тем выражением, с каким смотрят на клиента, не способного вести себя надлежащим образом.

– Уважаемая сеньора, – произнес он наконец, – «Клэймор» – фирма весьма серьезная.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – хладнокровно парировала Менчу. – Но при работе над ван Гюйсом обнаружены важные детали, которые значительно увеличивают ценность картины.

– Наши эксперты не усмотрели таких деталей.

– Исследование картины было проведено уже после вашей экспертизы. Эти находки... – тут Менчу снова на секунду словно бы засомневалась, нужно ли продолжать, и это не прошло незамеченным, – они не на виду.

Монтегрифо повернулся к Хулии. Лицо его отражало энергичную работу мысли, взгляд стал ледяным.

– Что вы обнаружили? – спросил он мягко, как исповедник, побуждающий к признанию.

Хулия в нерешительности смотрела на Менчу.

– Мы не уполномочены, – вмешалась Менчу. – Во всяком случае, на сегодняшний день. Сначала мы должны получить соответствующие инструкции от моего клиента.

Монтегрифо едва заметно пожал плечами, затем светски неторопливо поднялся.

– Мне пора. Прошу извинить.

Казалось, он собирался еще что-то добавить, но ограничился тем, что с любопытством посмотрел на Хулию. Он вроде бы даже и не беспокоился ни о чем. Только, прощаясь, выразил надежду – глядя на Хулию, но явно адресуясь к Менчу, – что находка, или открытие, или что бы то ни было, не повлияет на достигнутую договоренность. После чего, уверив дам в своем совершеннейшем к ним почтении, отошел от столика и, пройдя через весь зал, подсел к другому, занятому какой-то парой – по-видимому, иностранцами.

Менчу сокрушенно разглядывала свой бокал.

– Я здорово сваляла дурака.

– Почему? Рано или поздно он все равно узнал бы.

– Да, да. Но ты не знаешь Пако Монтегрифо. – Она отпила глоток и, приподняв бокал, взглянула сквозь него на аукциониста. – Вот ты думаешь: он весь такой светский, такой воспитанный, а он со всей своей светскостью, если бы только был знаком с доном Мануэлем, сию же минуту понесся бы к нему, чтобы разузнать, в чем там дело, и выкинуть нас за борт.

– Ты так думаешь?

Менчу саркастически хмыкнула. Уж она-то хорошо Пако Монтегрифо.

– У него бульдожья хватка, отлично подвешен язык, никаких проблем с совестью, а запах возможной сделки он чувствует за сорок километров. – Она с восхищением прищелкнула языком. – А еще говорят, что он занимается нелегальным вывозом произведений искусства и что никто так, как он, не умеет подмазываться к сельским священникам.

– Тем не менее он производит приятное впечатление.

– Да он просто этим живет: тем, что производит приятное впечатление.

– Я только не понимаю: если ты знаешь о нем такие вещи, почему ты не обратилась к кому-нибудь другому...

Менчу пожала плечами. Да, ей много чего известно о Пако Монтегрифо, но какое это имеет значение? У «Клэймора» ведь репутация безупречная.

– Ты что, спала с ним?

– С кем – с Монтегрифо? – Менчу расхохоталась. – Нет, детка. Он совершенно не в моем вкусе.

– А по-моему, он вполне, вполне.

– Просто у тебя сейчас такой возраст, голубушка. Лично я предпочитаю негодяев без полировки – таких, как Макс: у них всегда такой вид, что они вот-вот залепят тебе пару пощечин... В постели они лучше, а если смотреть в перспективе, то и обходятся намного дешевле.

– Вы, разумеется, еще слишком молоды.

Они пили кофе за китайским лакированным столиком, возле большого эркерного окна, густо увитого зеленью. Из старого фонографа лились звуки «Музыкального приношения» Баха. Временами дон Мануэль Бельмонте прерывал сам себя, как будто тот или другой такт вдруг привлек его внимание, несколько мгновений прислушивался, потом принимался слегка отбивать пальцами по никелированной ручке своего инвалидного кресла. Его лоб и тыльная сторона ладони были усыпаны темными пятнышками – знаками глубокой старости, на запястьях и шее узловато переплетались толстые голубые вены.

– Это случилось, думаю, году в сороковом... или в сороковых... – На сухих, потрескавшихся губах старика мелькнула грустная улыбка. – То были тяжелые времена, и мы продали почти все свои картины. Особенно мне помнится одна – Муньоса Деграйна, и еще одна, Мурильо. Моя бедная Ана, да будет ей земля пухом, так никогда и не оправилась от потери этого Мурильо. То был образ Пресвятой Девы – изумительный, такой маленький, очень похожий на те, что висят в Прадо... – Он прикрыл глаза, словно пытаясь мысленным взором разглядеть эту картину в ряду других воспоминаний. – Его купил один военный, он потом стал министром... Кажется, его звали Гарсиа Понтехос. Он прекрасно сумел воспользоваться нашим положением. Этот бессовестный негодяй заплатил нам всего четыре сотни.

– Могу себе представить, как тяжело было вам расставаться со всем этим... – Тон Менчу, сидевшей напротив Бельмонте, был преисполнен надлежащего сочувствия, а ее ноги выставлены напоказ в наиболее выгодном ракурсе.

Инвалид покивал в знак согласия; лицо его выражало уже давно ставшую привычной покорность судьбе. Такое выражение приобретает только ценой утраты иллюзий.

– У нас не было иного выхода. Друзья и родня – даже семья моей жены – как-то разом отошли от нас после войны, когда меня уволили с работы: я был дирижером Мадридского оркестра... Время было такое – кто не с нами, тот против нас... А я не был с ними.

Он умолк: казалось, его внимание отвлекла музыка, звучащая из угла, где стоял проигрыватель; вокруг него возвышались стопки старых пластинок, а над ними, в одинаковых рамках, гравированные портреты Шуберта, Верди, Бетховена и Моцарта. Через несколько секунд, снова переведя взгляд на Хулию и Менчу, дон Мануэль удивленно заморгал, он будто вернулся откуда-то издалека и не ожидал, что они все еще здесь.

– Потом у меня начался тромбоз, – продолжал он, видимо вспомнив, что к чему, – и все еще больше осложнилось. К счастью, у нас оставалось наследство моей жены, которое никто не мог у нее отобрать. Вот таким образом нам удалось сохранить этот дом, кое-что из мебели и две-три хорошие картины, среди них и «Игру в шахматы»... – Он грустно взглянул на противоположную стену, на торчавший из нее опустевший гвоздь, на темный прямоугольник невыцветших обоев и погладил кончиками пальцев подбородок, на котором виднелось несколько седых волосков, как-то уклонившихся от встречи с бритвой. – Эту картину я всегда особенно любил.

– От кого вы ее унаследовали?

– От одной из боковых ветвей – Монкада. От брата деда моей жены. Мать Аны была урожденная Монкада. Один из ее предков, Луис Монкада, служил интендантом герцога Александра Фарнезского – веке в шестнадцатом... Похоже, этот дон Луис был большим любителем искусства.

Хулия заглянула в бумаги, лежавшие на столе среди кофейных приборов.

– «Приобретена в тысяча пятьсот восемьдесят пятом году... Возможно, в Антверпене, во время капитуляции Фландрии и Брабанта...»

Старик кивнул и чуть сдвинул брови, будто припоминая лично виденные события.

– Да. Возможно, она находилась в числе трофеев, добытых при разграблении города. Легионеры, имуществом которых заведовал предок моей жены, были не из тех, кто вежливо стучит в дверь и выписывает квитанции за реквизированное добро.

Хулия перелистывала документы.

– Раньше этого года никаких упоминаний о картине нет, – заметила она. – Может, вы помните какую-нибудь семейную историю, связанную с ней? Легенду, предание или что-нибудь в этом роде. Любая ниточка пригодилась бы нам.

Бельмонте покачал головой:

– Нет, я ничего такого не знаю. В семье моей жены «Игру в шахматы» всегда именовали «Фламандской доской» или «Фарнезской доской» – наверняка чтобы сохранить память о ее происхождении... Более того: под этим названием она почти двадцать лет хранилась в музее Прадо, пока в двадцать третьем году отцу моей жены не удалось получить ее назад благодаря помощи Примо де Риверы⁹, который был другом семьи... Мой тесть всегда весьма ценил этого ван Гюйса, поскольку сам любил шахматы. Поэтому, когда картина перешла к его дочери – моей жене, я никогда не хотел продавать ее.

– А теперь? – спросила Менчу.

Старик некоторое время молчал, разглядывая свою чашку, словно бы не расслышав вопроса.

– Теперь все изменилось, – наконец произнес он, медленно переведя взгляд сначала на Менчу, потом на Хулию; казалось, он посмеивается над самим собой. – Я превратился в старую рухлядь – это видно за километр. – И он похлопал ладонями по своим неподвижным ногам. –

⁹ Примо де Ривера, Мигель (1870–1930) – генерал, после государственного переворота 1923 года глава правительства и фактический диктатор Испании.

Моя племянница Лола и ее муж заботятся обо мне, и я должен как-то отблагодарить их за это. Не так ли?

Менчу пробормотала извинение. Конечно, это дела семейные, и она вовсе не собиралась совать в них нос.

– Ничего, ничего, не беспокойтесь. – Бельмонте поднял правую руку с вытянутыми двумя пальцами, словно отпуская ей все грехи. – Ваш интерес вполне естествен. Картина стоит денег, а здесь, дома, она просто висит без всякой пользы. Лола и ее муж говорят, что лишние деньги пришлись бы очень кстати. Лола получает пенсию за своего отца, но вот ее муж, Альфонсо... – Он взглянул на Менчу с выражением, долженствующим означать: вы же меня понимаете. – Вы же знаете его: он никогда в жизни не работал. Что касается меня... – На губах старика вновь промелькнула насмешливая улыбка. – Если я скажу вам, сколько налогов мне приходится платить каждый год как владельцу этого дома, у вас просто волосы встанут дыбом.

– Что ж, район у вас хороший, – заметила Хулия, – и дом тоже.

– Да, но моя пенсия – это просто смех сквозь слезы. Поэтому мне и приходится время от времени продавать кое-что из вещей, которые я храню как память... Эта картина даст нам некоторую передышку.

Он замолчал, задумался, медленно покачивая головой; однако он не казался особенно подавленным – скорее происходящее забавляло его, словно во всем этом имелись какие-то юмористические моменты, которые он один был способен оценить по достоинству. Хулия поняла это, когда, доставая из пачки сигарету, перехватила его лукавый взгляд. Возможно, то, что на первый взгляд казалось банальным ошпыиванием больного старика бессовестными племянниками, для него самого являлось любопытным лабораторным экспериментом на тему «Алчность в лоне семьи». «Ах, дядя, ох, дядя, мы тут пашем на тебя, как невольники, а твоей пенсии едва хватает на покрытие расходов; тебе было бы гораздо лучше в доме для престарелых, среди твоих ровесников... А эти картины болтаются тут безо всякой пользы...» Сейчас, поманив их такой наживкой, как ван Гюйс, Бельмонте мог чувствовать себя в безопасности. Он даже снова, после стольких лет унижений, захватил в свои руки инициативу. Благодаря картине он теперь мог надлежащим образом свести счеты с племянниками.

Хулия протянула ему пачку сигарет. Лицо старика озарилось благодарной улыбкой, но он заколебался.

– Вообще-то мне не следовало бы... Лола позволяет мне в день только одну чашечку кофе и одну сигарету.

– К черту вашу Лолу!

Эти слова сорвались с губ девушки неожиданно даже для нее самой. Менчу метнула на нее испуганный взгляд; однако старик, похоже, ничуть не обиделся. Напротив, Хулии показалось, что она уловила в его глазах, обращенных на нее, озорную искорку, впрочем тут же погасшую. Старик протянул свои костлявые пальцы и взял сигарету.

– Что касается картины, – сказала Хулия, наклоняясь через стол, чтобы предложить огня дону Мануэлю, – там возникло одно непредвиденное обстоятельство...

Старик с откровенным наслаждением затянулся, до отказа наполнил легкие дымом и, прищурившись, взглянул на нее.

– Хорошее или плохое?

– Хорошее. Оказалось, что под слоем краски скрыта надпись, сделанная, по-видимому, самим художником. Если ее раскрыть, цена картины намного возрастет. – Она откинулась на стуле, улыбаясь. – Решать, разумеется, вам.

Бельмонте посмотрел на Менчу, потом на Хулию, как будто мысленно сравнивая что-то или взвешивая какие-то одному ему известные обстоятельства. Наконец он, по-видимому, принял решение, потому что, еще раз глубоко затянувшись, удовлетворенно опустил ладони на колени.

– Вы не только красивы, но, как вижу, еще и умны, – сказал он Хулии. – Я даже уверен, что вам нравится Бах.

– Я его очень люблю.

– Объясните мне, пожалуйста, о чем там идет речь.

И Хулия объяснила.

– Бывает же такое! – произнес наконец Бельмонте, покачивая головой, после долгого недоверчивого молчания. – Я столько лет, день за днем, смотрел на эту картину – вон там она висела, – и мне никогда даже в голову не приходило... – Он бросил взгляд на темное прямоугольное пятно на обоях – след от фламандской доски – и прикрыл глаза, довольно улыбаясь. – Так, значит, этот художник любил загадывать загадки...

– Похоже на то, – отозвалась Хулия.

Бельмонте жестом указал на продолжавший играть проигрыватель.

– И он не единственный, кто этим занимался. В прежние времена произведения искусства, прямо-таки битком набитые разными хитрыми шутками и загадками, были делом вполне обыкновенным. Вот возьмите, например, Баха. Десять канонов «Приношения» – это самое совершенное из всего, что он сочинил, однако ни один из них не дописан до конца... Бах сделал это преднамеренно, как будто речь шла о загадках, которые он предлагал Фридриху Прусскому... Музыкальная уловка, довольно частая в ту эпоху. А заключалась она в том, чтобы, написав тему, сопроводить ее лишь несколькими более или менее загадочными указаниями и предоставить раскрыть основанный на этой теме канон другому музыканту или исполнителю. То есть другому игроку, поскольку, в общем-то, это была игра.

– Весьма интересно, – отозвалась Менчу.

– О да! Вы даже не представляете себе, до какой степени. Бах, как и многие другие люди искусства, обожал расставлять ловушки. Он постоянно прибегал к каким-либо трюкам, чтобы обмануть слушателей: знаете, разные там уловки с нотами и буквами, хитроумные вариации, необычные фуги, а главное – огромное чувство юмора... Например, в одно из своих сочинений для шести голосов он втихаря вставил собственное имя, разделив его между двумя наиболее высокими голосами. Но такие вещи случались не только в музыке: Льюис Кэрролл, который был математиком и писателем, а кроме того, большим любителем шахмат, имел обыкновение вставлять в свои стихотворные произведения акrostихи... Существуют весьма остроумные способы, как скрыть то, что вы желаете скрыть: и в музыке, и в стихах, и в живописи.

– Что да, то да, – согласилась Хулия. – Символы и тайные шифры часто встречаются в искусстве. Даже в современном... Проблема в том, что мы не всегда располагаем ключами, при помощи которых можно было бы расшифровать эти послания. Особенно старинные. – Теперь она задумчиво посмотрела на темный прямоугольник на стене. – Но в случае с «Игрой в шахматы» у нас есть несколько отправных пунктов. Так что мы можем попробовать.

Бельмонте откинулся в своем инвалидном кресле и кивнул, устремив на Хулию лукавый взгляд.

– Держите меня в курсе, – сказал он. – Даю вам слово, что ничто не может доставить мне большего удовольствия.

Они прощались в холле, когда появились племянники. Лола оказалась высокой тощей женщиной далеко за тридцать, с рыжеватыми волосами и маленькими хищными глазками. Ее правая рука, окутанная рукавом мехового пальто, крепко обвилась вокруг левой руки ее мужа, смуглого худого мужчины, на вид несколько моложе ее, чья рано поредевшая шевелюра казалась еще реже на фоне сильно загоревшей лысины. Даже не зная Хулия из намеков дона Мануэля, что его родственник никогда в жизни не работал, она догадалась бы, что перед ней выдающийся экземпляр любителя беззаботного существования. В чертах его лица, в глазах с уже

обозначившимися под ними мешками читались хитрость и коварство, граничащие с цинизмом, а крупный выразительный рот, напоминающий лисью пасть, еще более усиливал это впечатление. Муж Лолы был облачен в синий блейзер с золотыми пуговицами, без галстука, и весь его вид недвусмысленно говорил о том, что у этого человека масса свободного времени, которое он делит между роскошными кафе (в час, когда пора пить аперитив) и модными ночными барами, а также что для него нет секретов в карточной игре и рулетке.

– Мои племянники Лола и Альфонсо, – сказал Бельмонте, и они поздоровались – безо всякого энтузиазма со стороны племянницы, но зато с явным интересом со стороны ее супруга, который задержал руку Хулии в своей несколько дольше, чем требовалось, и успел за это время окинуть ее с ног до головы опытным, оценивающим взглядом. Потом, повернувшись к Менчу, поздоровался и с ней, назвав по имени. Похоже, они были давно знакомы.

– Они пришли насчет картины, – пояснил Бельмонте.

Племянник прищелкнул языком:

– Ну конечно, насчет картины. Насчет твоей знаменитой картины.

Их ввели в курс последних новостей. Альфонсо – руки в карманах – слушал, улыбаясь Хулии.

– Если речь идет об увеличении стоимости картины, с чем бы оно ни было связано, – проговорил он, – то, по-моему, эта новость – лучше некуда. Если у вас будут еще какие-нибудь сюрпризы в таком роде, заходите в любое время. Мы обожаем сюрпризы.

Однако племянница не разделяла радости своего спутника жизни.

– Мы должны обсудить это, – сердито возразила она. – Кто гарантирует, что вы там не испортите нашу картину?

– Это было бы непростительно, – вмешался Альфонсо, по-прежнему не сводя глаз с Хулии. – Но я полагаю, что эта девушка не способна сыграть с нами такую злую шутку.

Лола Бельмонте метнула на мужа нетерпеливый взгляд.

– А ты вообще не вмешивайся. Это мое дело.

– Ошибаешься, дорогая. – Улыбка Альфонсо стала еще шире. – По брачному контракту у нас с тобой все имущество пополам.

– А я тебе говорю – не вмешивайся.

Альфонсо медленно повернулся к ней. Выражение его лица стало жестким, придав ему еще большее сходство с лисьей мордой. Теперь его улыбка была остра, как лезвие бритвы, и, глядя на эту перемену, Хулия поняла, что этот племянничек, пожалуй, не столь уж безобиден, как ей показалось вначале. Наверное, подумала она, не слишком приятно вести дела с человеком, способным так улыбаться.

– Тебе не стоило бы ставить себя в смешное положение... дорогая.

В этом «дорогая» было все, что угодно, кроме нежности, и, похоже, Лола Бельмонте знала это лучше, чем кто бы то ни было. Ценой заметного усилия она заставила себя сдерживать злость и возмущение только что пережитым унижением. Менчу шагнула вперед, готовая ринуться в бой.

– Мы уже все обговорили с доном Мануэлем, – заявила она. – И он согласен.

«А вот это другая сторона дела, – подумала Хулия, чье удивление возрастало с каждой минутой. Потому что инвалид наблюдал за разыгравшейся сценой, преспокойно сидя в каталке и сложив руки на коленях. Демонстративно непричастный к спору, он с насмешливым интересом стороннего наблюдателя выжидал, чем же все это кончится. – Любопытный народ, – подумала Хулия. – Любопытная семейка».

– Да, – подтвердил старик, ни к кому конкретно не обращаясь. – Я согласен. В принципе.

Племянница нервно сжимала руки, отчего украшавшие их браслеты беспрестанно звякали. Она, похоже, была сильно расстроена. Или взбешена. Или то и другое вместе.

– Но послушай, дядя, это надо как следует обсудить. Я не сомневаюсь в добрых намерениях этих сеньор...

– Сеньорит, – поправил ее муж, не переставая улыбаться Хулии.

– Ну, сеньорит – какая разница! – Лола Бельмонте была так зла, что даже говорила с трудом. – Но в любом случае им следовало переговорить также и с нами.

– Я, со своей стороны, просто благословляю их на это дело, – ответил муж.

Менчу в упор, не скрываясь, смотрела на Альфонсо; она собиралась что-то сказать, но в конце концов предпочла промолчать и перевела взгляд на племянницу.

– Вы слышали, что сказал ваш супруг.

– А мне плевать! Я наследница, а не он.

Сидевший в своем кресле Бельмонте иронически воздел к небу высохшие руки, будто прося слова.

– Между прочим, я еще жив, Лолита... Ты унаследуешь то, что тебе причитается, когда придет время.

– Аминь, – вставил Альфонсо.

Острый подбородок племянницы нацелился на Менчу с выражением такой ярости, что на мгновение Хулия почти испугалась: а ну как эта дама сейчас возьмет да и набросится на них! Она и правда выглядела устрашающе – длинные ногти, хищное лицо, лихорадочный блеск в глазах – и вполне могла нанести некоторые телесные повреждения. Хулия находилась не бог весть в какой форме; правда, в детстве Сесар обучил ее нескольким крутым приемам, весьма полезным в схватках с пиратами. Но, к счастью, племянница не пошла дальше испепеляющих взглядов и, резко повернувшись, прошла в дом.

– Мы еще встретимся, – бросила она через плечо, и яростный стук каблуков удалился по коридору.

Альфонсо, так и не вынув рук из карманов, благодушно улыбался.

– Не обращайтесь внимания. – Он повернулся к Бельмонте: – Ведь правда, дядя?.. Лолита у нас чистое золото... Добрейшая душа.

Инвалид рассеянно кивнул, мысли его явно были заняты другим. Его внимание, казалось, притягивал к себе опустевший прямоугольник на стене, словно испещренный некими таинственными знаками, понятными только его усталым глазам.

– Значит, с племянничком ты уже знакома, – сказала Хулия, как только они оказались на улице.

Менчу, уже впившаяся глазами в какую-то витрину, ответила утвердительным кивком.

– И давно. – Она наклонилась, чтобы получше разглядеть ценник, стоящий возле пары туфель. – Года три, а то и четыре.

– Теперь мне понятно, откуда выплыла эта картина... Тебе ее предложил не старик, а этот тип.

Менчу раздраженно усмехнулась:

– Что ж, ты угадала, детка. В свое время у нас с ним было кое-что – приключение, как выразилась бы ты: ты ведь у нас известная скромница... Это было давным-давно. Но вот теперь, когда ему стукнуло в голову насчет ван Гюйса, он вдруг вспомнил обо мне.

– А почему же он не взялся за это сам?

– Да потому, что с ним никто не желает иметь дела. Даже дон Мануэль ему не верит! – Она рассмеялась. – Альфонсито Лапенья, Альфонсито Рулетка... Под этим прозвищем он больше известен. Он должен всему свету – даже чистильщику ботинок. А несколько месяцев назад просто чудом не оказался за решеткой. Какое-то дело с какими-то чеками, которые ничем не были обеспечены.

– А на что же он живет?

– Жена кормит. Потом, время от времени ему удастся подцепить на удочку какого-нибудь простака. А вообще, знаешь ли, нахальство – второе счастье.

– Значит, теперь он возлагает свои надежды на ван Гюйса?

– Да. Ему просто не терпится превратить его в большую кучу жетонов для рулетки.

– Хорош гусь!

– Это уж точно. Но такие гуси – моя слабость, поэтому и Альфонсо мне нравится. – Она задумалась на пару секунд. – Хотя, насколько мне помнится, его технические данные тоже не столь уж выдающиеся. Он... как бы тебе это объяснить? – Она подыскивала слово поточнее. – У него плоховато с воображением, понимаешь? Тут уж он Макс и в подметки не годится. С ним все как-то очень уж прямолинейно: привет и пока. Но зато весело: как начнет сыпать анекдотами, так просто до колик доведет.

– А его супруга в курсе?

– Думаю, догадывается, потому что душой ее уж никак не назовешь. Потому так и сверкала на нас глазами. Мегера.

3. Шахматная задача

Благородная сия игра имеет свои бездны, в коих сгинула не одна благородная душа.

Из старинной немецкой рукописи

– Я полагаю, – произнес антиквар, – что речь идет о шахматной задаче.

Уже более получаса они разглядывали фламандскую доску, обмениваясь впечатлениями. Сесар стоял, прислонившись к стене, с изящно зажатым между большим и указательным пальцем стаканом джина с лимоном. Менчу томно полулежала на диване. Хулия покусывала ноготь, сидя на ковре по-турецки, с пепельницей между колен. Все трое вперились в картину так, словно перед ними стоял телевизор, по которому шел захватывающий фильм. Краски ван Гюйса постепенно тускнели у них на глазах по мере того, как гас вечерний свет, проникавший в комнату через потолочное окно.

– Может быть, кто-нибудь что-нибудь зажжет? – подала идею Менчу. – А то мне кажется, что я потихоньку слепаю.

Сесар нажал на кнопку выключателя у себя за спиной, и свет, льющийся из скрытых светильников и отражающийся от стен, вернул жизнь и краски Роже Аррасскому и чете герцогов Остенбургских. Почти одновременно с этим настенные часы с длинным маятником из позолоченной латуни начали медленно, в такт его ритмичному раскачиванию, бить восемь. Хулия подняла голову прислушиваясь: ей послышался с лестницы звук шагов.

– Альваро задерживается, – сказала она, убедившись, что они лишь почудились ей, и заметила, как Сесар презрительно поморщился.

– На сколько бы ни опоздал этот филистер, – пробормотал антиквар, – все равно он явится слишком рано.

Хулия бросила на него укоризненный взгляд:

– Ты же обещал вести себя корректно. Не забывай об этом.

– Я не забываю, принцесса. Я подавляю свои кровожадные порывы исключительно во имя моей преданности тебе.

– Я буду тебе вечно благодарна.

– Надеюсь, что да. – Антиквар взглянул на свои наручные часы, словно не доверяя точности стенных, которые сам же когда-то подарил Хулии. – Однако этот свинтус не отличается пунктуальностью.

– Сесар...

– Ладно, принцесса. Я умолкаю.

– Нет уж, не умолкай. – Хулия указала на картину: – Ты говорил, что мы имеем дело с шахматной задачей...

Сесар кивнул. Он сделал театральную паузу, чтобы чуть пригубить из своего стакана и затем промокнуть губы вынутым из кармана белоснежным платком.

– Видишь ли... – Он взглянул на Менчу и слегка вздохнул. – Видите ли... В скрытой надписи есть нечто, о чем мы – по крайней мере, я – до сих пор не задумывались. Действительно, фразу «*Quis necavit equitem*» можно перевести как вопрос: «*Кто убил рыцаря?*» Исходя из данных, которыми мы располагаем, ее можно истолковать как загадку, касающуюся смерти – или убийства – Роже Аррасского... Однако, – Сесар сделал жест фокусника, вынимающего из своего цилиндра сногшибательный сюрприз, – эту фразу можно перевести и с несколько иным смыслом. Насколько мне известно, шахматная фигура, которую мы теперь называем конем, в Средние века именовалась *рыцарем*... И до сих пор во многих европейских странах она называется именно так. Например, в английском языке – *knight*, то есть рыцарь. – Он задумчиво

посмотрел на картину, словно еще раз взвешивая правомерность своих умозаключений. – А это значит, что вопрос формулируется не «кто убил рыцаря?», а «кто убил коня?»... Или, пользуясь шахматной терминологией, «кто съел коня?».

Некоторое время они молчали, размышляя. Потом заговорила Менчу:

– Что ж, очень жаль. – Она была явно и жестоко разочарована. – Значит, мы заварили всю эту кашу на пустом месте...

Хулия, пристально смотревшая на антиквара, покачала головой.

– Ничего подобного: тайна-то существует! Ведь правда, Сесар?.. Роже Аррасский был убит *до того, как была написана картина*. – *Приподнявшись, она указала на угол доски. – Видите? Вон дата создания картины: Petrus Van Huys fecit me, anno MCDLXXI.*¹⁰ Это значит, что через два года после убийства Роже Аррасского ван Гюйс, воспользовавшись хитроумной игрой слов, написал картину, на которой фигурировали жертва и убийца... – Она секунду поколебалась, осененная новой идеей. – А также, возможно, и первопричина этого преступления – Беатриса Бургундская.

Менчу мало что поняла, но разволновалась донельзя. Сев на диване, она широко раскрытыми глазами смотрела на фламандскую доску так, будто видела ее впервые.

– Объясни-ка, детка моя. Я просто сгораю от нетерпения.

– Насколько нам известно, причин убийства Роже Аррасского могло быть несколько, и одна из них – предполагаемый роман между ним и герцогиней Беатрисой... Этой женщиной в черном, читающей у окна.

– Ты хочешь сказать, что герцог убил его из ревности?

Хулия сделала неопределенный жест:

– Я ничего не хочу сказать. Я только высказываю предположение, что это могло произойти. – Она кивком указала на гору книг, документов и фотокопий, вздымающуюся на столе. – Возможно, художник хотел привлечь внимание людей к этому преступлению... Может быть, именно поэтому он решил написать картину. А может быть, ее кто-то ему заказал. – Она пожала плечами. – Мы никогда этого точно не узнаем. Но одно ясно: эта картина содержит ключ к разгадке убийства Роже Аррасского. Это доказывает надпись.

– *Закрашенная надпись*, – подчеркнул Сесар.

– Тем более.

– Предположим, художник побоялся, что высказался уж слишком открыто, – предположила Менчу. – В пятнадцатом веке, знаете ли, тоже нельзя было вот просто так взять и обвинить человека.

Хулия взглянула на картину.

– Может быть, ван Гюйс и правда испугался, что намек получился чересчур уж прозрачным.

– Или кто-нибудь замазал фразу позже, – полувопросительно-полуутвердительно проговорила Менчу.

– Нет. Сначала я тоже подумала об этом. Но посмотрела под лампой Вуда, сделала стратиграфический анализ – сняла скальпелем образец и проверила его под микроскопом... – Она взяла со стола лист бумаги. – Вот тут все описано, слой за слоем: основа – дубовое дерево; очень тонкий слой грунтовки – карбонат кальция, костяной клей, свинцовые белила и растительное масло; далее три слоя – свинцовые белила, киноварь и жженая кость, свинцовые белила и резинат меди, лак и так далее. Везде все одинаковое: те же самые составы, те же самые краски. Следовательно, сам ван Гюйс закрасил эту надпись вскоре после того, как сделал ее. Тут никаких сомнений быть не может.

– Значит?

¹⁰ Питер ван Гюйс создал меня, год 1471 (*лат.*).

– Принимая во внимание то, что мы балансируем на плохо натянутом канате, которому уже пятьсот лет, я согласна с Сесаром. Очень возможно, что ключом является эта шахматная партия. Но насчет съеденного коня – мне это и в голову не приходило... – Она взглянула на антиквара. – А ты что скажешь?

Сесар отошел от стены, присел на другой конец дивана, рядом с Менчу, и, отхлебнув маленький глоток из своего стакана, закинул ногу на ногу.

– То же самое, что и ты, дорогая. Думаю, что, переключая наше внимание с рыцаря на коня, художник старался указать нам главное направление поисков... – Он аккуратно допил свой стакан и, звякнув кубиками льда, поставил его на соседний столик. – Задавая вопрос, кто съел коня, он вынуждает нас заняться изучением партии... Этот заумный ван Гюйс – начинаю подозревать, что он обладал весьма своеобразным чувством юмора, – приглашает нас сыграть в шахматы.

У Хулии загорелись глаза.

– Ну так сыграем! – воскликнула она, поворачиваясь к картине.

Эти слова исторгли еще один вздох из груди антиквара.

– Хорошо бы... Но это находится за пределами моих возможностей.

– Да что ты, Сесар! Ты наверняка умеешь играть в шахматы.

– Абсолютно безосновательное предположение, дорогая... Ты хоть раз видела меня за шахматной доской?

– Ни разу. Но ведь все хоть немножко играют в шахматы.

– В данном случае требуется нечто большее, чем просто представление о том, как передвигать фигуры... Ты обратила внимание на то, что позиция там весьма сложна? – Он театрально-сокрушенно откинулся на спинку дивана. – Даже мои возможности, как это ни досадно, неограничены. Никто в этом мире не совершенен, дорогая.

В этот момент раздался звонок в дверь.

– Альваро! – воскликнула Хулия и побежала открывать.

Но это был не Альваро. Хулия вернулась с конвертом, доставленным курьером. В конверте оказалось несколько фотокопий и текст, напечатанный на машинке.

– Смотрите! Видимо, он решил сам не приходить, но прислать нам вот это.

– Воспитанием он, как всегда, не блещет, – презрительно пробормотал Сесар. – Мог хотя бы позвонить и извиниться, мерзавец... – Он пожал плечами. – Хотя в глубине души я рад, что он не явился... Так что же нам прислал этот подонок?

– Перестань, – одернула антиквара Хулия. – Ему пришлось здорово поработать, чтобы составить это.

И она начала читать вслух.

ПИТЕР ВАН ГЮЙС И ПЕРСОНАЖИ, ИЗОБРАЖЕННЫЕ НА КАРТИНЕ «ИГРА В ШАХМАТЫ». БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

1415: Питер ван Гюйс родился в Брюгге (Фландрия). В настоящее время – Бельгия.

1431: Родился Роже Аррасский в замке Бельсанг, в Остенбурге. Его отец, Фульк Аррасский, являлся вассалом короля Франции и родственником Валуа – правившей в ней династии. Имя матери не дошло до наших дней, но известно, что она принадлежала к семье остенбургских герцогов – Альтенхоффен.

1435: Бургундия и Остенбург освобождаются от вассальной зависимости от Франции. Родился Фердинанд Альтенхоффен, будущий герцог Остенбургский.

1437: Роже Аррасский воспитывается при остенбургском дворе как товарищ детских игр будущего герцога Фердинанда. Вместе они и учатся. Когда Роже исполняется шестнадцать лет,

он вместе со своим отцом, Фульком Аррасским, отправляется на войну, которую ведет король Франции Карл VII против Англии.

1441: Родилась Беатриса, племянница Филиппа Доброго, герцога Бургундии.

1442: Принято считать, что именно в это время Питер ван Гюйс создает свои первые картины – после того как прошел обучение у братьев ван Эйк в Брюгге и у Робера Кампена в Турне. Ни одной его работы этого периода не сохранилось.

1448: Ван Гюйс пишет первое дошедшее до нас произведение: «Портрет ювелира Вильгельма Вальгууса».

1449: Роже Аррасский отличается при завоевании Нормандии и Гиени у англичан.

1450: Роже Аррасский сражается в битве при Форминьи.

1452: Ван Гюйс пишет «Семейство Лукаса Бремера» (лучшую из известных нам картин).

1453: Роже Аррасский участвует в сражении при Кастийоне. В том же году в Нюрнберге выходит из печати его «Поэма о розе и рыцаре» (один экземпляр ее хранится в Парижской национальной библиотеке).

1455: Ван Гюйс пишет «Деву молящуюся» (картина не датирована, но эксперты относят ее к этому периоду).

1457: Умирает Вильгельм Альтенхоффен, герцог Остенбургский. Его преемником становится сын Фердинанд, которому только что исполнилось двадцать два года. По-видимому, сразу же он призывает к себе Роже Аррасского, находящегося, предположительно, при дворе Карла VII, короля Франции, к службе которому его обязывает принесенная клятва верности.

1457: Ван Гюйс пишет картину «Ловенский меняла».

1458: Ван Гюйс создает «Портрет купца Матиаса Концини и его супруги».

1461: Смерть короля Карла VII. Можно предположить, что, освобожденный от клятвы верности французскому монарху, Роже Аррасский возвращается в Остенбург. Примерно к этому же времени Питер ван Гюйс заканчивает работу над «Антверпенским складнем» и прибывает к остенбургскому двору.

1462: Ван Гюйс создает «Рыцаря и дьявола». Фотографии оригинала (находящегося в амстердамском Рийксмузее) позволяют выдвинуть предположение, что прототипом этого рыцаря мог послужить Роже Аррасский, хотя сходство между этим персонажем и персонажем «Игры в шахматы» не является абсолютным.

1463: Официальная помолвка Фердинанда Остенбургского с Беатрисой Бургундской. В состав посольства, направленного к бургундскому двору, входят Роже Аррасский и Питер ван Гюйс, посланный, чтобы написать портрет Беатрисы, который он и создает в этом же году. (Портрет, упоминаемый в летописной записи о бракосочетании и в описи имущества, сделанной в 1474 году, до наших дней не сохранился.)

1464: Бракосочетание Фердинанда Альтенхоффена и Беатрисы Бургундской. Роже Аррасский возглавляет свиту, доставившую невесту из Бургундии в Остенбург.

1467: Умирает Филипп Добрый, и правителем Бургундии становится его сын Карл Отважный, двоюродный брат Беатрисы. Давление со стороны как Франции, так и Бургундии разжигает страсти при остенбургском дворе. Фердинанду Альтенхоффену с трудом удается поддерживать неустойчивое равновесие. Опорой профранцузской партии является Роже Аррасский, имеющий большое влияние на герцога Фердинанда. Пробургундская партия держится благодаря влиянию герцогини Беатрисы.

1469: Роже Аррасский убит. В его гибели обвиняют бургундскую партию. Ходят также слухи, что всему виной любовная связь между Роже Аррасским и Беатрисой Бургундской. Причастность к убийству Фердинанда Остенбургского не доказана.

1471: Два года спустя после убийства Роже Аррасского ван Гюйс пишет «Игру в шахматы». Неизвестно, продолжает ли все еще художник жить в Остенбурге.

1474: Фердинанд Альтенхоффен умирает, не оставив наследников. Король Франции Людовик XI заявляет о своих старинных династических правах на это герцогство, что ухудшает и без того напряженные отношения между Францией и Бургундией. Кузен вдовствующей герцогини Карл Смелый вторгается в герцогство, разбив французов в битве при Ловене. Происходит аннексия Остенбурга Бургундией.

1477: Карл Смелый погибает в сражении при Нанси. Максимилиан I Австрийский присваивает бургундское наследство, которое впоследствии переходит в руки его внука Карла (будущего императора Карла V) и в конце концов входит в состав испанской монархии Габсбургов.

1481: Питер ван Гюйс умирает в Генте во время работы над триптихом «Снятие с креста», предназначенным для собора Св. Бавона.

1485: Умирает Беатриса Бургундская, пребывавшая в заключении в одном из льежских монастырей.

Долгое время никто не осмеливался открыть рта. Их взгляды встречались, затем опять устремлялись на картину. Молчание, казалось, длилось целую вечность. Наконец Сесар тихонько произнес, покачивая головой:

– Должен признаться, я просто потрясен.

– Мы все потрясены, – прибавила Менчу.

Хулия положила документы на стол и оперлась на него обеими руками.

– Ван Гюйс хорошо знал Роже Аррасского. – Она кивком указала на бумаги. – Возможно, они даже были друзьями.

– И, создавая эту картину, он свел счеты с его убийцей, – задумчиво проговорил Сесар. – Все детали сходятся.

Хулия подошла к книжным полкам, сплошь занимавшим две стены и прогибавшимся под тяжестью стоящих и лежащих на них томов. Постояв перед ними минутку с упертыми в бока руками, она извлекла откуда-то толстый иллюстрированный фолиант, быстро перелистала страницы и, найдя то, что искала, уселась на диван между Менчу и Сесаром, раскрыв книгу на коленях. То был альбом «Амстердамский Рийксмузеум». Найденная Хулией репродукция была невелика, однако позволяла отчетливо разглядеть рыцаря, облаченного в доспехи, но с непокрытой головой, едущего на коне вдоль подножия холма, на вершине которого виднелся город, окруженный крепостной стеной. Бок о бок с рыцарем, дружески беседуя с ним, ехал дьявол – всадник на черной, тощей, с выпирающими ребрами кляче. Его вытянутая вперед и вверх правая рука указывала на город, к которому, похоже, они и направлялись.

– Вполне возможно, что это он и есть, – заметила Менчу, всматриваясь попеременно то в лицо рыцаря, то в лицо персонажа фламандской доски.

– А может, и нет, – возразил Сесар. – Хотя действительно между ними есть известное сходство. – Он повернулся к Хулии. – Когда написана эта картина?

– В тысяча четыреста шестьдесят втором.

Антиквар быстро подсчитал в уме:

– Это значит – за девять лет до «Игры в шахматы». Это могло бы послужить объяснением. Всадник, сопровождаемый дьяволом, моложе, чем тот, другой, рыцарь.

Хулия, не отвечая, внимательно изучала репродукцию в книге. Сесар с беспокойством взглянул на нее:

– Что-нибудь не так?

Она медленно покачала головой – медленно и осторожно, будто опасаясь, что резкое движение может спугнуть неких таинственных, не слишком-то склонных к общению духов, которых ей с трудом удалось созвать к себе на помощь.

– Да, – произнесла она тоном человека, которому не остается иного выхода, кроме как признать очевидное. – Все совпадает... даже чересчур. – И указала пальцем на фотографию.

– Я не вижу ничего особенного, Менчу.

– Не видишь? – Хулия усмехнулась, словно бы самой себе. – Посмотри на щит рыцаря... В Средние века каждый дворянин украшал щит своей эмблемой... Скажи, Сесар: что ты думаешь? Что нарисовано на этом щите?

Антиквар вздохнул, провел рукой по лбу. Он был потрясен не меньше Хулии.

– Клетки, – ответил он не колеблясь. – Клетки – белые и черные. – Он поднял глаза на фламандскую доску, и голос его, казалось, дрогнул. – Как на шахматной доске.

Хулия встала, оставив книгу раскрытой на диване.

– Тут и речи не может быть ни о какой случайности. – Она подошла к картине, по дороге подхватив с одной из полок сильную лупу. – Если рыцарь, написанный ван Гюйсом в компании дьявола в тысяча четыреста шестьдесят втором, – Роже Аррасский, это значит, что через девять лет художник использовал тему его герба в качестве главного ключа картины, которая, как мы предполагаем, раскрывает тайну его гибели... Даже пол комнаты, в которую он поместил своих персонажей, расчерчен черными и белыми клетками. Это, в дополнение к символическому характеру картины, подтверждает, что главным ее действующим лицом является именно Роже Аррасский, помещенный ван Гюйсом, заметьте, в самом центре... В общем, все завязано вокруг шахмат.

Опустившись на колени перед картиной, она долго, по очереди, разглядывала в лупу все шахматные фигуры, находившиеся на доске и на столе возле нее. Затем некоторое время пристально изучала круглое выпуклое зеркало, расположенное в левом верхнем углу картины, на стене, и отражавшее искаженные перспективой стол и фигуры играющих.

– Сесар...

– Что, дорогая?

– Сколько обычно бывает шахматных фигур?

– Гм... Восемь умножить на два, итого по шестнадцать каждого цвета. Значит, всего тридцать две, если не ошибаюсь.

Хулия пересчитала фигуры на картине, указывая пальцем на каждую.

– Точно – тридцать две. И все очень отчетливо видны: пешки, короли, кони... Большинство стоит на доске, а некоторые – рядом на столе.

– Те, что на столе, уже съедены. – Сесар, встав на колени, указал на одну из фигур, уже выведенную из игры: на ту, что повисла в воздухе, зажатая в пальцах Фердинанда Остенбургского. – Среди них один конь – только один. Белый. Остальные три – второй белый и два черных – все еще находятся в игре. Так что *Quis necavit equitem* относится именно к нему.

– И кто же его съел?

Антиквар пожал плечами.

– В этом вопросе и заключается суть всей проблемы, дорогая. – Он улыбнулся ей, как улыбался много лет назад, когда она, еще маленькая девчушка, сидела у него на коленях. – Нам уже удалось выяснить довольно много: кто оципал цыпленка, кто его сварил... Но пока что нам неизвестно, какой мерзавец съел его.

– Ты не ответил на мой вопрос.

– Не всегда же у меня находятся под рукой блестящие ответы.

– А раньше всегда находились.

– Раньше я мог лгать. – Он взглянул на нее с нежностью. – А теперь ты уже большая, и мне не так легко обмануть тебя.

Хулия положила ему руку на плечо, как пятнадцать лет назад, когда просила, чтобы он придумал для нее историю какой-нибудь картины или фарфоровой статуэтки. И в голосе ее прозвучали все те же детски-умоляющие нотки:

– Мне очень нужно знать это, Сесар.

– Аукцион через два месяца, – напомнила сзади Менчу. – Времени остается мало.

– К черту аукцион, – отозвалась Хулия. Она продолжала смотреть на Сесара так, словно решение загадки находилось у него в руках.

Антиквар еще раз вздохнул и, проведя рукой по ковру, будто смахивая пыль, уселся на него, сложив руки на коленях. Нахмурившись, он в задумчивости покусывал кончик узкого розового языка.

– В общем, так, – произнес он через некоторое время. – Для начала у нас есть несколько ключей. Но просто иметь их – мало: важно знать, как мы можем ими воспользоваться. – Он взглянул на выпуклое зеркало в левом верхнем углу картины, отражавшее игроков и стол. – Мы привыкли считать, что любой предмет и его зеркальное изображение во всем идентичны. Однако это не так. – Он указал пальцем на нарисованное зеркало. – Видите? С первого взгляда мы можем убедиться, что изображение является обратным. А поскольку на доске ход партии *перевернут*, следовательно, и в зеркале происходит то же самое.

– У меня уже голова раскалывается от всей этой премудрости, – со стоном произнесла Менчу. – Это слишком сложно для моей плоской энцефалограммы, так что мне нужно выпить... – И, подойдя к бару, она щедрой рукой плеснула себе в стакан водки из запасов Хулии. Однако, прежде чем взять стакан, она извлекла из сумочки плоский отполированный камень оникс, серебряную канюлю, маленькую коробочку и приготовила себе порцию кокаина, выложив его на камень в виде узенькой полоски. – Аптека открыта, – объявила она. – Кто-нибудь интересуется?

Ей никто не ответил. Сесар, казалось, был абсолютно поглощен изучением картины, так что посторонние звуки не доходили до его сознания, а Хулия только укоризненно нахмурилась. Пожав плечами, Менчу наклонилась и вдохнула кокаин через нос – умело и уверенно, в два приема. Когда она снова подняла голову, на губах ее играла улыбка, а голубизна глаз казалась ярче обычной, несмотря на несколько отсутствующее выражение.

Пока Менчу заправлялась, Сесар, будто намекая Хулии на то, что на эту даму она вполне может не обращать внимания, взял ее за локоть и подвел поближе к ван Гюйсу.

– Простая мысль о том, – заговорил он, точно, кроме них, в комнате никого не было, – что одни вещи в картине могут быть реальными, а другие – нет, уже сама по себе заманивает нас в ловушку. Персонажи и шахматная доска изображены на картине дважды, и каким-то пока непонятным образом одно из изображений является *менее реальным*, чем другое. Понимаешь?.. Принимая это как факт, мы вынуждены перенестись в эту нарисованную комнату, то есть стереть границу между реальностью и тем, что изображено на картине... Единственный способ избежать этого – отойти от нее на такое расстояние, чтобы мы различали только цветные пятна и шахматные фигуры. Но тут столько разных перевертышей...

Хулия взглянула на картину, потом, повернувшись, указала на венецианское зеркало, висевшее на противоположной стене.

– Ничего, – Если мы посмотрим на картину с помощью другого зеркала, может быть, нам удастся восстановить изначальное изображение.

Сесар долго молча смотрел на нее, обдумывая то, что услышал.

– Это верно, – проговорил он наконец, и в его улыбке Хулия прочла одобрение и поддержку. – Но боюсь, принцесса, что миры, создаваемые картинами и зеркалами, слишком непрочны, неуловимы, и если разглядывать их снаружи до известной степени забавно, то двигаться внутри их чрезвычайно неудобно. Для этого требуется специалист – человек, способный увидеть картину не так, как видим ее мы... И, кажется, я знаю, где можно найти такого человека.

На следующее утро Хулия позвонила Альваро, но к телефону никто не подошел. Она позвонила ему домой, но тоже безрезультатно. Тогда, поставив на проигрыватель пластинку Лестера Боуи, а на конфорку плиты – кофеварку, она забралась в душ и долго стояла под струями воды. Потом выкурила пару сигарет, выпила кофе и, как была – с мокрыми волосами и в старом свитере, натянутом на голое тело, – взялась за работу.

Первый этап реставрации состоял в том, чтобы снять лак со всей поверхности картины. Несомненно, стремясь защитить свое творение от сырости холодных северных зим, художник использовал жирный лак, разведенный на льняном масле. Лак был приготовлен по всем правилам, но в пятнадцатом веке никому – даже такому мастеру, как ван Гюйс, – было не под силу сделать так, чтобы он за полтысячи лет не пожелтел, приглушая первоначальную яркость красок.

Сначала Хулия попробовала на уголке доски несколько разных растворителей, затем приготовила смесь из ацетона, спирта, нашатырного спирта и воды и с помощью пропитанных ею ватных тампонов, которые она брала пинцетом, принялась размягчать лак. Работала она с предельной осторожностью, начав с тех участков поверхности, где слой лака был наиболее толстым, и оставив на потом те, где его было меньше. Каждую минуту она останавливалась, чтобы внимательно осмотреть тампоны и убедиться, что вместе с лаком не начала растворяться и лежащая под ним краска. Хулия проработала без отдыха все утро (в пепельнице работы Бен-льюзера скопилась целая куча окурков), отрываясь от дела лишь на несколько секунд, чтобы, прищурив глаза, окинуть взглядом результаты. Мало-помалу, по мере исчезновения составившегося лака, фламандская доска начала вновь обретать магию своих изначальных красок, теперь представших взору такими, какими их задумал и смешал на своей палитре старый фламандец: сиена, медная зелень, свинцовые белила, ультрамарин. Чудо возрождалось под пальцами Хулии, и она созерцала этот процесс с почтительным уважением, как будто на ее глазах постепенно открывалась самая сокровенная тайна искусства и жизни.

В полдень ей позвонил Сесар, и они договорились встретиться во второй половине дня. Хулия воспользовалась этим перерывом, чтобы подогреть себе еду, и перекусила, запив все кофе, прямо там же, на диване перед мольбертом. Жуя, она внимательно разглядывала трещинки, успевшие за пятьсот лет покрыть красочный слой: тут и старение, и воздействие света, и естественная деформация дерева... Трещинки особенно выделялись на лицах и руках персонажей и на таких цветах, как белый, тогда как на темных и на черном почти не были заметны. Особенно на платье Беатрисы Бургундской: его складки выглядели такими живыми, что, казалось, коснись их пальцами – и ощутишь мягкость бархата.

Любопытно, подумала Хулия: картины, написанные недавно, покрываются трещинами вскоре после завершения, потому что при их создании используются современные материалы и искусственные способы сушки, а вот творения старых мастеров, буквально одержимых в своем стремлении делать все старыми дедовскими способами, с достоинством несут через века свою красоту. В этот момент Хулия испытывала живейшую симпатию к старому Питеру ван Гюйсу, представляя его себе в средневековой мастерской, тщательно и скрупулезно подбирающим компоненты для своего лака, чтобы придать краскам картины должную мягкость и послать свое детище сквозь время в вечность, туда, где не будет уже ни его самого, ни тех, чьи образы запечатлел его кисть на простой дубовой доске.

Перекусив, Хулия снова погрузилась в работу. Теперь она занималась нижней частью картины, где находилась скрытая надпись. Здесь она работала особенно осторожно, чтобы не попортить слой медной зелени, смешанной с камедью во избежание потемнения от времени: ван Гюйс написал ею сукно, покрывающее стол, а потом, с помощью той же краски, сделал его складки более широкими, чтобы скрыть латинскую надпись. Все это, как отлично было известно Хулии, помимо обычных технических трудностей, создавало еще и этическую проблему... Позволительно ли, уважая дух картины, раскрывать надпись, закрасить которую

решил сам автор?.. До какой степени может реставратор позволить себе пойти вопреки желанию художника, воплощенному в его произведении не менее явственно, чем если бы речь шла о завещании?.. И даже если думать только об оценке картины, что выгоднее – раскрыть надпись или же оставить все как есть, подтвердив ее существование фотокопиями рентгеновских снимков?

К счастью, мысленно заключила Хулия, она во всем этом деле не имеет решающего голоса. Она только делает свою работу, за которую ей платят. А решать будут владелец картины, Менчу и этот тип из «Клэймора» – Пако Монтегрифо; она, Хулия, лишь выполнит их решение. Хотя по зрелом размышлении, если бы это зависело от нее, она оставила бы все как есть. Надпись существует, текст ей известен, и нет никакой необходимости вытаскивать ее на свет божий. В конце концов, слой краски, покрывавший ее в течение пяти столетий, тоже составляет часть истории фламандской доски.

В студии продолжал звучать саксофон, и его звуки отгораживали Хулию от всего остального мира. Она осторожно провела пропитанным растворителем тампоном по фигуре Роже Аррасского, по его лицу, обращенному к зрителю почти в профиль, и снова, уже в который раз, задумалась, вглядываясь в него. Опущенные веки, тонкие штрихи морщинок у глаз, сосредоточенный взгляд, устремленный на доску... В своем воображении девушка улавливала отголоски мыслей несчастного рыцаря: в них переплетались любовь и смерть, подобно шагам Судьбы в таинственном балете, разыгрываемом белыми и черными фигурами на клетках шахматной доски, на его собственном, украшенном гербом щите, пробитом стрелой арбалета. И мерцала в полумраке слеза женщины, казалось поглощенной чтением Часослова – или то была «Поэма о розе и рыцаре»? Безмолвная тень у окна, погруженная в воспоминания о днях юности, наполненных светом, о блеске металла, мягкости ковров, звуке твердых шагов по плитам бургундского двора, о шлеме на руке, о высоком, гордом челе воина, находящегося в расцвете сил и в зените славы, надменного посланника того, другого, с которым ей надлежало пойти под венец из государственных соображений. И о шепоте дам, и о суровых, важных лицах придворных, и о румянце, залившем ее лицо под спокойным взглядом этих глаз, при звуке этого голоса, звенящего, как разящая в битве сталь, и уверенного, каким может быть лишь голос человека, которому хоть раз в жизни довелось во весь опор скакать на врага, выкрикивая имя Всевышнего, своего короля или своей дамы. И о тайне сердца, хранимой долгие годы. И о Молчаливой подруге, о Последней спутнице, терпеливо точащей свою косу, натягивающей тетиву арбалета близ рва восточных ворот.

Краски, картина, студия, вибрирующие в воздухе звуки саксофона – все сливалось и кружилось вокруг Хулии. В какой-то момент, оглушенная, она опустила пинцет и, закрыв глаза, приказала себе дышать глубоко и размеренно, чтобы избавиться от внезапно охватившего ее страха: ей вдруг показалось, что она находится *внутри* картины, что стол вместе с игроками неожиданно оказался слева от нее, а она сама стремительно ринулась вперед, через всю нарисованную комнату, к раскрытому окну, возле которого читала Беатриса Бургундская. Как будто ей стоило только наклониться, перегнуться через подоконник, и она увидела бы то, что находится внизу, у подножия стены: ров восточных ворот, у которого пал Роже Аррасский, пронзенный пущенной в спину стрелой.

Хулии не удавалось успокоиться до тех пор, пока, сунув в рот сигарету, она не чиркнула спичкой. Поднести огонек к концу сигареты оказалось сложной задачей: у нее дрожала рука – так, словно она только что прикоснулась к лику Смерти.

– Это просто шахматный клуб, – сказал Сесар, когда они поднимались по лестнице. – Клуб имени Капабланки.

– Капабланки? – Хулия опасливо заглянула в распахнутую дверь. В зале стояло множество столов, за ними – склоненные мужские фигуры, вокруг толпились кучки зрителей.

– Хосе Рауля Капабланки, – пояснил антиквар, беря под мышку трость и снимая шляпу и перчатки. – Он считается лучшим шахматистом всех времен... В мире полным-полно клубов его имени, а турниры – чуть ли не каждый второй называется «Памяти Капабланки».

Они вошли в клуб. Помещение было разделено на три больших зала; в них стояло с дюжину столов, и почти на всех шла игра. В воздухе слышался какой-то особый, характерный гул: он не был шумом, но его нельзя было назвать и тишиной. Он напоминал тот легкий, сдержанный, чуть торжественный шепот, который обычно витает в церкви, наполненной людьми. Кое-кто из игроков и зрителей воззрился на Хулию с удивлением и даже откровенной неприязнью: публика в клубе была исключительно мужская. Пахло табачным дымом и старым деревом.

– А что, разве женщины не играют в шахматы? – поинтересовалась Хулия.

Сесар, который, прежде чем войти в зал, предложил ей свою руку, помедлил пару секунд, будто обдумывая заданный вопрос, потом ответил:

– По правде говоря, я никогда над этим не задумывался. Но здесь, по всей видимости, женщины не играют. Может быть, дома, в перерывах между готовкой и стиркой...

– И ты туда же!

– Это просто так говорится, дорогая. Ты же знаешь, я отношусь к прекрасному полу более чем уважительно.

Навстречу им двинулся немолодой мужчина с обширной лысиной и аккуратно подстриженными усами: сеньор Сифуэнтес, директор Общества любителей шахмат «Хосе Рауль Капабланка». Сесар представил его Хулии. Сеньор Сифуэнтес оказался человеком общительным и разговорчивым.

– У нас числится пятьсот членов, – с гордостью рассказывал он, показывая гостям награды, дипломы и фотографии, украшавшие стены. – Мы также организуем турнир на общенациональном уровне... – Он остановился перед витриной, где было выставлено несколько комплектов шахмат – скорее старых, чем старинных. – Красивые, правда?.. Разумеется, здесь мы пользуемся исключительно моделью «Стаунтон».

Говоря это, он повернулся к Сесару, как будто ожидая его одобрения, и антиквару не оставалось ничего другого, кроме как придать соответствующее выражение своему лицу.

– Конечно, – кивнул он, и Сифуэнтес ответил улыбкой, преисполненной симпатии.

– Только дерево, – удовлетворенно подчеркнул он. – Никакой там пластмассы.

– Ну еще бы!

Сифуэнтес, довольный, повернулся к Хулии:

– Вам бы следовало зайти сюда как-нибудь в субботу, поближе к вечеру. – Он гордо огляделся вокруг, как мать-наседка, делающая ревизию своему подростшему потомству. – Сегодня то у нас обычный день: любители, после работы заглянувшие поиграть до ужина, пенсионеры, которые сидят за доской с утра до вечера. Обстановка, как видите, весьма приятная. Весьма...

– Положительная, – подсказала Хулия несколько неожиданно даже для самой себя. Однако Сифуэнтесу это явно пришлось по душе.

– Вот-вот, положительная. И, как вы можете убедиться, к нам приходит много молодежи... Вон тот, видите? Это просто какой-то феномен: ему всего девятнадцать, а он уже написал работу на сто страниц, посвященную анализу одного из сложных вариантов дебюта Нимцоиндия.

– Да что вы говорите! Это же надо: Нимцоиндия... Это звучит... – Хулия отчаянно искала подходящее слово, – это звучит... капитально.

– Ну, не то чтобы капитально, – скромно признал Сифуэнтес, – но это и правда достаточно важный раздел шахматной теории.

Взгляд Хулии, брошенный на Сесара, молил о помощи, но антиквар только поднял бровь с выражением вежливого интереса к их диалогу. Он стоял, заложив за спину руки с тростью

и шляпой, и слушал, чуть наклоняясь в сторону Сифуэнтеса. Похоже, происходящее забавляло его необычайно.

– Да и я сам, – продолжал Сифуэнтес, ткнув пальцем себе в грудь на уровне первой пуговицы жилета, – несколько лет назад тоже внес свою скромную лепту...

– Что вы говорите! – вставил Сесар, и Хулия взглянула на него с беспокойством.

– Да, да. – Директор шахматного общества привычно изобразил на лице скромную улыбку. – Субвариант системы двух коней в защите Каро-Канн... *Вариант Сифуэнтеса*. – Он с надеждой посмотрел на Сесара. – Может, вам приходилось слышать?..

– Безусловно, – с полным самообладанием ответил антиквар.

Сифуэнтес благодарно улыбнулся ему.

– Поверьте, я отнюдь не преувеличиваю, говоря, что в нашем клубе – или обществе любителей шахмат, как я предпочитаю называть его, – встречаются сильнейшие шахматисты Мадрида, а может быть, и всей Испании... – Он прервал сам себя, словно вдруг вспомнив о чем-то. – Я нашел человека, который вам нужен. – Он огляделся по сторонам, и лицо его просветлело. – Да, вот он. Пойдемте со мной, господа.

Хулия и Сесар последовали за ним в глубь одного из залов, к самым задним столам.

– Это оказалось не слишком-то легкой задачей, – говорил на ходу Сифуэнтес, – так что мне пришлось как следует пошевелить мозгами... Ведь вы, – он полуобернулся к Сесару, – просили, чтобы я порекомендовал вам лучшего из лучших.

Они остановились вблизи одного из столов, за которым играли двое мужчин в окружении дюжины зрителей. Один из игроков легонько постукивал пальцами по столу, рядом с доской, склонившись над ней с выражением глубокой сосредоточенности – именно это выражение видела Хулия на лицах персонажей фламандской доски. Его партнер, которого, казалось, нимало не беспокоило это ритмичное постукивание, сидел неподвижно, слегка откинувшись на спинку деревянного стула; руки его были засунуты в карманы, подбородок уткнулся в узел галстука. Невозможно было понять, изучают ли его устремленные на доску глаза позиции фигур, или же этому отрешенному взгляду представляется нечто иное, не имеющее никакого отношения к разыгрываемой партии.

Зрители хранили почтительное молчание, как будто на этой доске решался вопрос жизни и смерти. Фигур на ней уже осталось немного, и они были так перемешаны, что вновь прибывшим не удавалось даже понять, кто играет белыми, а кто черными. Прошло несколько минут. Тот из игроков, кто барабанил по столу, той же самой рукой взялся за белого слона и двинул его вперед, так что он оказался между белым королем и черной ладьей. Сделав ход, игрок бросил короткий взгляд на своего соперника и снова принялся тихонько выбивать пальцами дробь на столе.

Ход белого слона вызвал продолжительное шушуканье среди наблюдателей. Подойдя ближе к столу, Хулия могла видеть, что второй шахматист, который даже не пошевелился, когда его противник сделал ход, теперь сфокусировал свое внимание на выдвинутом вперед слоне. Какое-то время он сидел, пристально глядя на него, затем медленным движением – таким медленным, что до последней секунды было невозможно понять, какую фигуру сейчас подхватят его пальцы, – передвинул черного коня.

– Шах, – произнес он и снова застыл неподвижно на своем стуле, не обращая внимания на поднявшееся вокруг одобрительное перешептывание.

Никто ничего не объяснял Хулии, но в этот момент она поняла, что это тот самый человек, о знакомстве с которым просил Сесар директора шахматного клуба и которого им рекомендовал Сифуэнтес. Не первой молодости – с виду за сорок, среднего роста, очень худой. Волосы зачесаны назад, без пробора, на висках большие залысины. Крупные уши, нос слегка крючковат, темные, глубоко посаженные глаза, словно бы с недоверием взирающие на мир. Ничто в его внешности не говорило о большом уме (качество, по мнению Хулии, неперенное

для любого шахматиста), а лицо, утомленное и апатичное, не выражало ни малейшего интереса к тому, что происходило вокруг. Хулия разочарованно подумала: он выглядит как человек, умеющий правильно передвигать шахматные фигуры, но и только-то; ничего из ряда вон выходящего он и сам от себя не ждет.

Однако – а может, именно из-за этого выражения бесконечной скуки, написанного на его лице, – когда его соперник передвинул своего короля на одну клетку назад, а он медленно протянул правую руку к фигурам, в этом уголке зала воцарилась гробовая тишина. Хулия – возможно, потому, что она и сама была здесь чужой, – интуитивно почувствовала, к своему удивлению, что зрители относятся к этому человеку без всякой симпатии. Она видела, что эти люди скрепя сердце признают его превосходство в шахматных делах, поскольку, как любители, они не могли не понимать, как четко, медленно и неумолимо он развивает на доске свое наступление. Но в глубине души – Хулия внезапно отчетливо ощутила это, хотя и сама затруднилась бы объяснить почему, – все они надеялись стать свидетелями какой-нибудь его ошибки и последующего поражения.

– Шах, – повторил игрок. Он сделал всего лишь один, кажущийся весьма простым ход – передвинул пешку на соседнее поле. Однако его соперник перестал барабанить пальцами по столу и прижал их к виску, словно желая уgomонить биение беспокойной жилки. Затем шагнул белым королем также на одну клетку: на сей раз назад, по диагонали. Он имел в своем распоряжении три возможных убежища, но по какой-то непонятной для Хулии причине выбрал именно это. Шепот восхищения, поднявшийся вокруг, вроде бы говорил о чрезвычайном остроумии этого хода, но первый игрок остался невозмутим.

– Так был бы мат, – проговорил он, и в тоне его не прозвучало даже малейшего намека на торжество: он просто констатировал объективный факт. Однако не прозвучало в нем и сочувствия. Первый игрок произнес эти слова до того, как сделать свой ход, будто не желая сопровождать их практической демонстрацией. И лишь потом, как бы нехотя, с полным равнодушием к недоверчивым взглядам своего противника и большинства зрителей, он провел, словно из дальнего далека, своего слона по белой диагонали из конца в конец и поставил его в непосредственной близости от вражеского короля, однако не прямо угрожая ему. Вокруг стола снова вспыхнул шепот комментариев. Хулия, сбита с толку, взглянула на доску: она мало что понимала в шахматах, но, уж во всяком случае, знала, что шах и мат означают прямую угрозу королю. А этот белый король, похоже, находился в безопасности. Хулия перевела вопросительный взгляд на Сесара, потом на Сифуэнтеса. Директор добродушно улыбался, с восхищением покачивая головой.

– Действительно, тут был бы мат в три хода, – сообщил он Хулии. – Что бы ни сделал дальше белый король, он был обречен.

– Тогда я вообще ничего не понимаю! – воскликнула Хулия. – Что там произошло?

Сифуэнтес тихонько рассмеялся:

– Именно этот белый слон мог нанести решающий удар. Хотя до последнего хода никому из нас не удавалось разглядеть такую возможность... Но дело в том, что этот кабальеро, отлично зная, какой ход ему надлежит сделать, не собирается делать его. Вот сейчас он двинул своего слона только для того, чтобы продемонстрировать нам этот ход. Видите, он поставил его не на то поле, а в таком положении слон абсолютно безобиден.

– Тем более не понимаю, – пожала плечами Хулия. – Он что – не хочет выигрывать?

Директор клуба имени Капабланки тоже пожал плечами в ответ:

– В том-то и вся загвоздка... Он ходит сюда уже пять лет, и он лучший шахматист из всех, кого я знаю, но я ни разу не видел, чтобы он выиграл хоть одну партию.

В этот момент странный игрок поднял голову и встретился глазами с Хулией. И в одно мгновение вся его невозмутимая уверенность улетучилась, как будто, закончив партию и снова обратив свои взоры на окружающий мир, он вдруг лишился всего, что обеспечивало ему

зависть и уважение других. Лишь теперь Хулии бросились в глаза его не отличавшийся особым вкусом галстук, коричневый пиджак с поперечными замятинами на спине и пузырями на локтях, плохо выбритый подбородок, синеватый от уже успевшей пробиться щетины: он явно брился в пять или шесть утра – прежде чем торопливо выскочить из дому и ринуться к метро или автобусной остановке, чтобы вовремя поспеть на работу. Даже взгляд его изменился – погас, стал тусклым и невыразительным.

– Разрешите представить вам, – произнес Сифуэнтес, – это сеньор Муньос, шахматист.

4. Третий игрок

– Задумайтесь вот над чем, Ватсон, – проговорил Холмс. – Разве не любопытно убедиться в том, что иногда для того, чтобы разобраться в прошлом, оказывается, необходимо знать будущее?

Р. Смаллиэн

– Это вполне реальная партия, – сказал Муньос. – Немного странная, но абсолютно логичная. Последний ход был сделан черными.

– Это точно? – спросила Хулия.

– Точно.

– Откуда вы знаете?

– Знаю.

Разговор этот происходил в студии Хулии, перед фламандской доской, освещенной всеми лампами, какие только были в комнате. Сесар сидел на диване, Хулия присела на столе, Муньос стоял перед картиной, все еще немного растерянный.

– Хотите рюмочку?

– Нет.

– Сигарету?

– Тоже нет. Я не курю.

В атмосфере студии явственно ощущалась неловкость. Шахматист, похоже, чувствовал себя неуютно: он так и не снял своего мятого, наглухо застегнутого плаща, как будто оставляя за собой право в любой момент проститься и уйти без всяких объяснений. Смотрел он угрюмо и недоверчиво; Сесару и Хулии стоило большого труда уговорить его поехать с ними. Вначале, когда они объяснили, с чем пришли к нему, Муньос сделал такое лицо, что комментариев не требовалось: он явно принимал их за пару ненормальных. Потом он насторожился, занял оборонительную позицию. Он просит прощения, если говорит что-то неприятное, но вся эта история с убийствами, совершенными в эпоху Средневековья, и с шахматной партией, нарисованной на доске, выглядит слишком уж странной. И даже если то, что ему рассказали, правда, он не очень понимает, какое отношение ко всему этому имеет он, Муньос. В конце концов – он повторил это так, словно хотел таким образом внести полную ясность и установить соответствующую дистанцию, – он всего-навсего бухгалтер. Простой служащий.

– Но вы играете в шахматы, – возразил Сесар с нежнейшей улыбкой, на какую только был способен.

Выйдя из клуба, они перешли улицу и уселись в баре напротив, рядом с музыкальным автоматом, из которого лилась монотонная мелодия.

– Да, играю. И что из этого? – В голосе Муньоса не было вызова: только безразличие. – Многие играют в шахматы. И я не понимаю, почему именно я должен...

– Говорят, что вы лучший шахматист клуба.

Муньос взглянул на Сесара с каким-то неопределенным выражением. Хулии показалось, что она читает в этом взгляде: может быть, я и правда лучший, но это не имеет никакого отношения к делу. Быть лучшим ровным счетом ничего не значит. Это все равно что быть блондином или иметь плоскостопие, но не обязательно же выставлять это напоказ.

– Если бы было так, как вы говорите, – произнес он после секундной паузы, – я бы выступал на турнирах и других подобных соревнованиях. А я этого не делаю.

– Почему?

Муньос скользнул взглядом по своей пустой чашке из-под кофе и пожал плечами.

– Просто не выступаю, и все. Чтобы выступать, надо иметь желание. Я имею в виду – желание выигрывать... – Он посмотрел на своих собеседников так, точно был не слишком уверен, что они понимают его слова. – А мне все равно.

– А-а, вы теоретик, – отозвался Сесар, и в его серьезности Хулия уловила скрытую иронию.

Муньос некоторое время задумчиво смотрел на Сесара, словно ему было трудно найти подходящий ответ.

– Может быть, – проговорил он наконец. – Потому-то я и не думаю, что сумею оказаться вам полезным.

Он уже собрался было подняться, но передумал, когда Хулия протянула руку и коснулась его локтя. Это краткое прикосновение было исполнено мольбы, и позже, наедине с Хулией, Сесар, подняв бровь, квалифицировал его как «весьма удачное проявление женственности, дорогая, жест дамы, просящей о помощи, не прибегая к словам и не давая птичке улететь». Даже сам он, Сесар, не сумел бы проделать это лучше; в крайнем случае у него вырвалось бы какое-нибудь восклицание, абсолютно не подходящее при данных обстоятельствах. Как бы то ни было, Муньос мельком взглянул вниз, на руку Хулии, которую она уже убирала, и остался сидеть, а глаза его скользили по поверхности стола, пока не остановились на его собственных руках с не слишком-то чистыми ногтями, неподвижно лежавших по сторонам чашки.

– Нам необходима ваша помощь, – тихо сказала Хулия. – Дело очень важное, уверяю вас. Важное для меня и для моей работы.

Чуть склонив набок голову, шахматист посмотрел на нее, но не прямо в глаза, а куда-то ниже, на уровне подбородка; он словно опасался, что взгляд в глаза установит между ними некую связь, обяжет его к ответственности, брать которую на себя он не собирался.

– Не думаю, что оно окажется интересным для меня, – ответил он наконец.

Хулия перегнулась к нему через стол:

– А вы попытайтесь представить себе, что речь идет о шахматной партии – абсолютно отличной от всех, какие вам приходилось играть до сих пор. О партии, которую стоило бы выиграть.

– Я не вижу, почему эта партия не такая, как все. Все партии по сути своей всегда одинаковы.

Сесар начал терять терпение.

– Уверяю вас, мой дорогой друг, – нарастающее раздражение антиквара прорывалось в движениях тонких пальцев, которыми он вертел на правой руке перстень с топазом, – что, сколько я ни пытаюсь уяснить себе причину вашей странной партии, мне никак не удастся угадать ее... Тогда почему вы вообще играете в шахматы?

Шахматист чуть задумался. Потом его взгляд снова заскользил по столу, затем вверх, но на сей раз уперся не в подбородок Сесара, а прямо ему в глаза.

– Пожалуй, – спокойно ответил Муньос, – по той же самой причине, по какой вы являетесь гомосексуалистом.

Словно порыв ледяного ветра пронесся над столом. Хулия торопливо достала и закурила сигарету. Ее привела в ужас бестактность шахматиста. Однако в его словах она не уловила ни издевки, ни агрессивности. Что же касается Муньоса, он смотрел на антиквара с выражением учтвого внимания, как будто между ними происходил какой-то обыденный разговор и он просто ждал ответа почтенного собеседника на свою реплику. В этом взгляде Хулия не прочла ни малейшего намерения оскорбить или унижить – скорее, напротив, некую безмятежность, исполненную невинности: так мог бы смотреть турист, который, сам о том не подозревая, нарушил неизвестные ему порядки и обычаи чужой страны.

Сесар же только чуть наклонился поближе к Муньосу: он казался даже заинтересованным, а на тонких бледных губах его играла легкая улыбка человека, находящего сложившуюся ситуацию забавной.

– Мой дорогой друг, – мягко произнес он, – судя по вашему тону и по выражению лица, вы ничего не имеете против того, кем я, тем или иным образом, являюсь... Точно так же, как мне представляется, вы ничего не имели против того белого короля или того партнера, с которым только что сражались там, в клубе. Не так ли?

– Более или менее.

Антиквар повернулся к Хулии:

– Ты понимаешь, принцесса? Все в порядке, нет ни малейшего повода для беспокойства... Этот учтивый кабальеро хотел сказать только, что он играет в шахматы по одной-единственной причине: потому что игра просто заложена в самой его природе. – Улыбка Сесара стала еще шире и снисходительнее. – Потому что он просто *не может существовать* безо всех этих задач, комбинаций, обдумывания решений... Что может значить в сравнении со всем этим какой-то прозаический шах или мат? – Он откинулся на спинку стула, глядя Муньосу прямо в глаза, взгляд которых оставался все таким же невозмутимым. – Так вот, я скажу тебе, что это значит. Ровным счетом ничего! – Сесар поднял руки ладонями вверх, точно приглашая Хулию и шахматиста убедиться в правдивости его слов. – Не так ли, друг мой?.. Это всего лишь малоприятная точка в конце игры, вынужденное возвращение к действительности. – Он презрительно сморщил нос. – К реальному существованию, к ежедневной и ежечасной рутине.

Когда Сесар закончил свой монолог, Муньос довольно долго молчал.

– А это забавно, – наконец проговорил он, чуть сузив глаза в некоем подобии улыбки, которая, однако, так и не отразилась на губах. – Пожалуй, вы точно все выразили – точнее некуда. Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь произносил это вслух.

– Что ж, я рад, если оказался первым. – Сесар сопроводил свои слова легким смешком, за который Хулия наградила его неодобрительным взглядом.

Шахматист, казалось, утратил некоторую часть своей уверенности и даже немного растерялся.

– Что, вы тоже играете в шахматы?

Сесар коротко рассмеялся. «Сегодня он невыносимо театрален, – подумала Хулия, – как, впрочем, всегда, когда находится подходящая публика».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.